

Евгений КАРНОВИЧ

ПАГУБА



Серия исторических романов

Евгений Карнович

Пагуба (сборник)

«ВЕЧЕ»

1887

Карнович Е. П.

Пагуба (сборник) / Е. П. Карнович — «ВЕЧЕ»,
1887 — (Серия исторических романов)

ISBN 978-5-4444-3276-1

В данном томе представлены два произведения выдающегося русского историка и писателя Евгения Петровича Карновича (1823–1885). События романа «Придворное кружево» относятся к годам недолгого царствования Екатерины I и сменившего ее на троне Петра II. Более зрелый роман «Пагуба» посвящен секретной странице русской истории – «Лопухинскому делу», заговору против императрицы Елизаветы, дочери Петра Великого. В центре повествования – клубок политических и частных интриг, жертвами которых стали невинные люди. Основанный на документальных источниках, роман достоверно воссоздает быт, нравы и судьбы людей Елизаветинской эпохи.

ISBN 978-5-4444-3276-1

© Карнович Е. П., 1887
© ВЕЧЕ, 1887

Содержание

Об авторе	5
Придворное кружево	7
I	7
II	11
III	15
IV	18
V	22
VI	25
VII	29
VIII	33
IX	37
X	41
XI	45
XII	48
XIII	52
XIV	55
XV	58
XVI	63
XVII	66
XVIII	68
Конец ознакомительного фрагмента.	69

Евгений Карнович Пагуба

Об авторе

Русский писатель-историк Евгений Петрович Карнович родился в 1823 году в селе Лупандино, расположенном недалеко от Ярославля. Он не посещал гимназии, а вместо этого получил прекрасное домашнее образование, после которого окончил курс Санкт-Петербургского педагогического института. Некоторое время молодой учитель преподавал древнегреческий язык в калужской гимназии, что, кажется, никоим образом не отразилось на его творчестве, а затем служил в должности правителя дел в канцелярии попечителя Виленского учебного округа. В 1859 году, выслужив пенсию, Карнович вышел в отставку и поселился в Петербурге, где до конца жизни (а умер он в 1885 году) был директором тюремного комитета. Но основным своим занятием Евгений Петрович считал журналистскую деятельность и исторические исследования. Поначалу Карнович даже сотрудничал в таком прогрессивном журнале, как «Современник», где он опубликовал исследование о крепостном праве в Польше (1858) и серию очерков о польском старинном быте (1860–1863), а также статью о значении бироновщины в русской истории, вышедшую в «Отечественных записках» (1873). С этим исследованием связан и один из наиболее известных исторических романов Е. Карновича «Любовь и корона», вышедший в 1879 году. Роман посвящен событиям, происходившим во времена царствования Анны Иоанновны.

В 1861–1862 годах Карнович издавал собственный еженедельный журнал «Мировой посредник», который большой популярности у читателей не завоевал. Журнал пришлось закрыть, а сам публицист стал постоянным сотрудником газеты «Голос», где работал до 1871 года. В дальнейшем Карнович еще дважды обращался к журналистике: он редактировал «Биржевые ведомости» (1875–1876) и журнал «Отголоски» (1881–1882). Основным же его занятием в последние годы жизни были исторические исследования. За четверть века своей творческой деятельности Евгений Карнович опубликовал огромное количество статей самого разнообразного характера: критических, публицистических, исторических. Научные труды и популярные сочинения Карновича появлялись на страницах «Исторического вестника», «Недели», «Русской мысли», «Народной школы», «Нови» и других печатных изданий. Он охотно писал бытовые очерки и оригинальные исторические миниатюры. Некоторая часть этих малых произведений переиздана в сборнике «Исторические рассказы и бытовые очерки», вышедшем в 1884 году, незадолго до смерти автора. К самым известным его трудам относятся такие исследования, как «Римские папы в былое и настоящее время» («Рассвет», 1860), «Цесаревич Константин Павлович» («Русская старина», 1877–1878), «Князь Ал. Н. Голицын и его время» («Исторический вестник», 1882), «Императрица Елизавета Петровна и король Людовик XV» (там же, 1884). Даже из краткого перечня этих работ видна европейская направленность исторических интересов Е.П. Карновича. Подтверждает такой вывод и посмертно опубликованные работы историка, как то: «Финансы России в прошлом веке» («Новь», 1887), «Внешняя и внутренняя торговля в России в XVIII в.» («Новь», 1888), но прежде всего – интереснейшее исследование, вышедшее отдельным изданием: «Родовые прозвания и титулы в России» (1886), переизданное уже в постсоветское время.

Действие большинства исторических романов и повестей Карновича происходит в XVIII веке. Событиям времен Павла I посвящен роман «Мальтийские рыцари в России», эпоха Екатерины II описана в романе «Самозванные дети», о борьбе за трон царевны Софьи Алексеевны рассказано в «На высоте и на доле». Но наибольший интерес в литературном

наследии писателя представляет роман из эпохи дворцовых переворотов «Любовь и корона», переиздание которого в 1995 году вновь открыло Евгения Карновича для массового читателя.

Анатолий Москвин

Придворное кружево

I

– Вы как-то сказали мне, что любимое ваше рукоделье – плетенье кружев, а я теперь вижу, что вы не только большая любительница такой работы, но что у вас еще и много вкуса по этой части. Ведь это ваше домашнее кружево? Да, вероятно, и узор для него был нарисован вами?

Так говорил, сидя в кресле у канапе, подле княгини Марфы Петровны Долгоруковой, красивый, средних лет мужчина. Разговор они вели между собою на французском языке, причем гость хотя и выражался самым изящным французским языком, но в произношении его слышался легкий немецкий оттенок. Княгиня же бойко говорила на чуждом ей французском языке.

Одежда ее собеседника представляла что-то особенное по сочетанию цветов. На нем был надет белый гродетуровый кафтан французского покроя, с зелеными обшлагами и небольшим отложным воротником такого же цвета. По его белому шелковому камзолу шла зеленая орденская лента. Исподнее его платье, шелковые чулки, а также и плюмаж на треугольной шляпе были зеленые. У подъезда того дома, где беседовал этот господин, стояла запряженная шестернею лошадей карета зеленого цвета, обитая внутри белым атласом. Кучер, фореитор и гайдуки, ожидавшие выхода своего господина, были также одеты в белое платье с зеленым прибором.

Происходило это в Петербурге, в начале 1726 года. В ту пору в Западной Европе геральдические цвета на одежде, на экипаже и на ливреях у слуг имели еще важное значение, и сочетание зеленого цвета с белым должно было наводить на мысль, что находившийся в доме княгини Долгоруковой гость имел близкие отношения к Венгрии. Действительно, этот и по виду, и по обстановке важный господин – граф Рабутин – был посол его апостолического величества, короля венгерского, а вместе с тем и императора римско-немецкого Карла VI, прирожденного эрцгерцога австрийского. В ответ на замечание посла о кружеве молодая женщина не без самодовольства стала разглаживать своею нежной ручкой на колене складку шелковой робы, отделанной кружевом.

– Вы не ошиблись, граф. Кружево это сделано у меня дома, по моему рисунку; а знаете что?.. – сказала она и приостановилась, как будто в раздумье.

Рабутин придал своему лицу выражение напряженного внимания, в ожидании, что скажет далее его собеседница.

– Я хотела бы, – запинаясь, начала хозяйка, – при вашем посредстве иметь счастье представить кружевной убор самой лучшей работы вашей августейшей государыне, если только мое почтительное приношение может заслужить такую высокую честь.

– Как вы отлично знаете любовь императрицы к изделиям этого рода! – торопливо подхватил Рабутин. – Хотя ее величество вовсе не охотница до пышных нарядов, и драгоценные уборы Габсбургского дома остаются при ней без всякого употребления, но что касается кружев, то она постоянно приобретает их за самую большую цену. Ее величество даже поручила мне купить их в России, так как она слышала похвалы русским кружевам, и я уже готовился просить вас, чтобы вы благоволили помочь мне исполнить поручение моей возлюбленной повелительницы, а теперь мне остается только благодарить вас и от имени ее величества, и лично от себя за ваше любезное предложение. Могу сказать с полной уверенностью, что ее величеству будет чрезвычайно приятен ваш неожиданный подарок.

Хотя императрица и не давала Рабутину такого поручения, да и едва ли когда-нибудь и была у нее с ним речь о кружевах вообще и о русских в частности, но тем не менее ловкий дипломат счел нужным, по обычаю тогдашнего льстивого времени, наговорить разных любезностей хозяйке. Да притом и речь о кружевах он завел с нею, имея в расчете перейти от этого разговора к другому, имевшему для него существенное значение. С той же стороны и Долгорукова воспользовалась таким разговором, рассчитывая сделанным ею подарком императрице обратить на себя ее внимание.

– Мне очень приятно, что я так часто схожусь с вами в моих мыслях, и если бы я была назначена моею государынею вести с вами переговоры, то, по всей вероятности, вы очень скоро окончили бы поручения по каким бы то ни было важным делам, – улыбнувшись, заметила хозяйка. – А теперь все мои переговоры с вами должны ограничиваться только вопросом о кружевах.

– Что же, однако, мешает переходить нам в наших откровенных беседах и к более важным, пожалуй, государственным делам, – как будто добродушно, но вместе с тем и несколько лукаво сказал Рабутин.

– Но я вовсе не знакома с тонкостями дипломатии, – заметила хозяйка, – и даже о вашем поручении знаю очень смутно, по одним только городским слухам, которые обыкновенно бывают и сбивчивы, и преувеличены, а иногда и просто-напросто оказываются вымышленными. Что же касается лично меня, то мне кажется, что я вовсе даже не способна к дипломатии, если бы даже и была женщиной.

– Не говорите этого, – с живостью перебил Рабутин, – и позвольте мне на этот раз отказаться от главного свойства искусных дипломатов – от скрытности. Я буду с вами откровенен и выскажу вам не какие-нибудь любезности, а только истину, не подлежащую ни малейшему сомнению для тех, кто имеет честь знать вас. Вы, княгиня, умны, образованны и проницательны, да притом и выросли в той среде, где еще с детства могли слышать иногда о политических делах...

Говоря это, Рабутин пристально смотрел на Долгорукову, а смотреть на нее и без всяких даже дипломатических соображений могло быть большим наслаждением для каждого мужчины, а в особенности для такого влюбчивого, каким был посол его апостолического величества. Перед ним была молодая, лет двадцати шести, женщина, высокая, стройная, недаром слывшая в Петербурге красавицей и вдобавок к тому считавшаяся умницей, хотя в ту пору на Руси женскому уму и не придавали еще никакого значения. Наружностью своей она заметно разнилась от коренных русских красавиц, так как в лице ее была особая, чуждая им примесь. Ее большие черные глаза, с густыми, длинными ресницами полузакрытых век, блестели, если можно так выразиться, каким-то сухим огнем, без той влажной поволоки, которая считается принадлежностью чисто русской красоты, а несколько выдававшаяся вперед нижняя губа и очертания носа придавали ей оттенок женщины восточного происхождения. Такие особенности не были у Долгоруковой случайною игрою природы, но достались ей по наследству, так как в ней текла еврейская кровь. Она была дочь вице-канцлера барона Павла Ивановича Шафирова и, следовательно, родная внучка выкрещенного еврея. От отца своего она наследовала, впрочем, не один только внешний облик, но и некоторые черты его характера, а он, как известно, отличался ловкостью в делах всякого рода и алчностью к деньгам, для приобретения которых, несмотря на свое высокое служебное положение, пускался в разные торговые и промышленные предприятия.

– Да и красота ваша, – продолжал Рабутин, не спуская пристального взгляда с Долгоруковой, – обеспечивала бы вам несомненный успех, если бы когда-нибудь пожелали войти в кружок тех людей, которые или по слепой случайности, или по действительным заслугам и уму призваны управлять государственными делами. Как бы охотно покорились они не только каждому слову, но и каждому вашему взгляду!

– Вы начинаете вдаваться в любезности, граф, и удаляетесь от главного предмета – от кружев, – шутливо заметила Долгорукова.

– Испытайте на деле и вы убедитесь в справедливости моих слов. Займитесь плетением кружев, но только не тех, о которых мы говорили прежде, но кружев придворных, – сказал Рабутин с особенным ударением на последнем слове. – Вы будете только составлять узоры и руководить работой, а плести их явятся другие; для этого найдется немало усердных работниц и даже работников. Одни придут к вам из корыстных расчетов, другие из честолюбивых видов, а иных можно будет завлечь так, что они и не будут подозревать, что служат только бессознательными коклюшками в руках прекрасной мастерицы. Такие люди будут самыми пригодными: с ними не надо вступать ни в какие предварительные объяснения, они не будут требовать от вас отчета в том, что им поручается исполнить, да и сами себе они не станут отдавать его, а будут довольствоваться скромными выгодами разного рода, за которые останутся вам признательными как нельзя более.

– Я понимаю настоящий смысл ваших слов и нахожу, что вы очень ловкий искуситель, – заметила хозяйка. – Но позвольте спросить вас, – с живостью добавила она, – в чью же пользу и с какою целью мы будем работать?

– В ответ на ваш вопрос – вопрос весьма основательный, я скажу вам, что наш союз послужил бы к обоюдным выгодам как Австрии, так и России. Цель эта должна быть сочувственна для меня, как для представителя его апостолического величества, а для вас – как русской княгини, которая, без всякого сомнения, дорожит благоденствием и славою своего отечества. А что касается личной пользы, то в подобных случаях каждый будет в состоянии извлечь для себя то, что ему будет желательно. Да притом разве то влияние и то значение, какое таким путем может приобрести женщина, не должны затрагивать ее самолюбия? Да и вообще, – продолжал Рабутин, растягивая теперь свою речь, – его величество император остается во всех отношениях чрезвычайно признателен к тем, которые радуют в его пользу. Благодарность, как известно, составляет отличительную черту его характера. Я прежде всего передам вам сущность моего поручения при здешнем дворе.

– Если вы хотите быть со мной откровенным, то и я, в свою очередь, отплачу вам тем же, – перебила княгиня, – вы приехали сюда хлопотать, чтобы русский престол после кончины ныне царствующей государыни достался не ее дочерям и их потомству, но великому князю Петру Алексеевичу. О, данное вам поручение хотя и было прикрыто завесой, но настолько прозрачно, что у нас его разгадали очень скоро.

– Но немногие?

– Конечно.

– И в числе их были вы, княгиня, хотя за несколько минут перед этим и говорили, что считаете себя неспособной к дипломатии. Вы не ошиблись: великий князь Петр Алексеевич по матери – родной племянник императрицы-королевы, и для Габсбургского дома весьма важно, чтобы русский престол занимало лицо, находящееся с ним в таком близком родстве. Быть может, со временем – во всяком случае, время это далеко – династические связи утратят свое значение, но пока они имеют еще громадную силу. Посредством их завязывается обыкновенно первый узел дружественных отношений между державами, и поэтому понятна забота императора Карла о судьбе русского великого князя не только как о судьбе своего родственника, но и как будущего доброго и верного союзника Австрии.

В это время дверь в гостиную приотворилась, и на пороге показался лакей княгини.

– Ее сиятельство княгиня Аграфена Петровна изволила к вам пожаловать, – доложил он.

– Ваша искренняя союзница, – подмигнула Долгорукова Рабутину.

«И отлично умеет плести придворные кружева», – подумал граф.

– Назначьте мне день, когда я могу переговорить с вами наедине, – прошептал он.

– В среду вечером никто нам не мешает, – тихо проговорила она.

II

Рабутин встал с кресел и, опершись рукою на их спинку, самодовольно улыбался в ожидании входа гостьи. Долгорукова старалась скрыть смущение, произведенное в ней неожиданным приездом княгини Аграфены Петровны Волконской, так как она являлась в дом Долгоруковых только по особенно важным случаям и обыкновенно привозила какие-нибудь неприятные или тревожные вести.

Почти бегом вошла в гостиную Волконская. Она была женщина лет под сорок, высокая, худощавая; смугло-желтоватое лицо ее с густыми бровями, нависшими над умными темно-серыми глазами, отличалось выразительностью и суровостью, а в ее походке и в движениях была заметна большая самоуверенность и торопливость.

– Какая неожиданная и приятная встреча, – сказала Волконская, обращаясь к Рабутину на правильном немецком языке, после того как она расцеловалась с хозяйкой.

Рабутин подошел к Волконской и почтительно поцеловал ее руку, а она, следуя русскому обычаю, который казался таким странным в Европе, поцеловала его в щеку.

Хозяйка усадила гостью на канapé, оказывая ей чрезвычайное внимание и предупредительность, а Рабутин по приглашению Марфы Петровны сел на прежнее свое место, подле Волконской. Наступило молчание, как это бывает всегда после внезапно прерванного разговора, которые ведут собеседники, не желающие, чтоб кто-нибудь вмешался в него. Да и кроме того, в ту пору особенное уважение к тем лицам, которые почему-либо имели право на него, выражалось между прочим при их приходе тем, что все присутствовавшие молчали в ожидании, что скажет наиболее почетная особа.

Аграфена Петровна, обводя своим зорким взглядом хозяйку и ее гостя, тотчас же по их замешательству догадалась, что между ними шла речь о каком-нибудь важном деле и что она помешала им, прервав их беседу. Не желая, однако, обнаружить перед ними свою догадку, она очень равнодушно заговорила о городских новостях.

– Видела я сейчас Наташу Лопухину, – начала простовато-русским говором Волконская, обращаясь исключительно к хозяйке. – Хорошеет она день ото дня. Да, впрочем, что ей делается: живется ей хорошо, муж на все сквозь пальцы смотрит.

То смешение языков, какое слышалось теперь в гостиной княгини Долгоруковой, было в Петербурге уже в первой четверти прошлого века явлением обыкновенным. Со времени Петра Великого в домах русской знати стали являться при русских боярышнях французские учительницы, и в этом отношении дом вице-канцлера Шафирова, как и дом Бестужевых-Рюминых, из которого была Волконская, занимал едва ли не первое место. Между тем на изучение родного языка не обращали никакого внимания, и потому тогдашние русские барыни и боярышни, усваивая себе правильное и достаточное знание французского языка и обучением, и практикою, учились родному языку только у нянек и прислуги. Поэтому очень часто и поражал в гостиных переход от правильной французской речи к простонародному русскому говору.

– Я рассказываю о госпоже Лопухиной, – сказала Волконская по-немецки Рабутину, – ведь вы, конечно, знакомы с нею?

– Я имел честь быть представленным ей по приезде моем в Петербург как статс-даме ее величества, – отозвался Рабутин, – а потом...

– А потом, конечно, и не виделись с нею. Ведь вы, граф, отъявленный поклонник женской красоты, а надобно сказать по правде, что она прекрасно олицетворяется в госпоже Лопухиной. Впрочем, ее трудно где-нибудь встретить. Она домоседка, да и у себя никого не принимает. Но ей, должно быть, не скучно, хоть муж ее и живет постоянно в деревне. Пустой он человек и гуляка, и многое ей надобно простить. Царь Петр Алексеевич выдал

ее за него против ее воли, да и Лопухин ее не любил, а ведь она женщина хорошая и может любить с большим постоянством, – с какой-то насмешкой добавила Волконская.

– Она это и доказывает в отношении к Левенвольду, – добавила, улыбнувшись, хозяйка.

– Ну а он платит ей тем же самым. Он тоже красавец и мог бы приискать себе здесь прекрасную невесту. Да он и нашел, или, вернее сказать, ему нашли такую. Чего бы, казалось, лучше: княжна Варвара Черкасская, дочь князя Алексея. Ведь она считается самой богатой невестой во всей России, и так как сама она хотела выйти замуж за Левенвольда, то государыня взялась устроить эту свадьбу и готовилась обручить их. Но знаете, почему Левенвольд отказался от этого брака? Не пожелал расстаться с Наташей, а ведь он сам по себе человек с малыми средствами и вдобавок к тому кругом в долгах. Несмотря на то что государыня во время своей благосклонности к нему так щедро дарила его, у него не осталось теперь ровно ничего. И оттеснил-то его кто? Этот негодяй, выскочка, который теперь всемогущ и делает все, что хочет, а вы, любезный граф, сделались отчасти виновником его еще большего возвышения, – с запальчивостью добавила Волконская, сурово взглянув на Рабутина.

– Я исполнил только повеление, данное мне моим августейшим государем, – как бы оправдываясь, проговорил Рабутин.

– И кто выдумал эту небывалую у нас на Руси новизну? – продолжала Волконская, как будто не обращая внимания на оправдания своего собеседника. – Разве подходящее дело, чтобы русский великий князь обращался к иностранному государю за разрешением жениться?

Рабутин слегка откашлялся.

– Позвольте объяснить вам, княгиня, те особые обстоятельства, при которых это произошло, – мягко и уступчиво сказал он. – Русский великий князь Петр Алексеевич принадлежит по своей матери к знаменитому Габсбургско-Австрийскому дому, главою которого состоит ныне его величество император римско-немецкий Карл VI. Следовательно, в обращении к его августейшей особе в том случае, о котором у нас идет речь, проявилась собственно только родственная вежливость, конечно, не обязательная для великого князя. Кроме того, здесь встретилось еще и другое обстоятельство. Будущая невеста великого князя по отцу – принцесса Священной Римской империи, и этикет нашего двора требовал, чтобы отец ее испросил у императора разрешение выдать свою дочь за какую бы то ни было владетельную особу и получил бы на то от его величества надлежащее согласие. Следовательно, князь Меншиков исполнил только то, что обязательно для всех имперских князей.

При этих доводах дипломата Волконская утвердительно кивала головою, а Долгорукова внимательно прислушивалась к каждому его слову.

– Лично же мое участие в этом деле, – продолжал Рабутин, – ограничивается только тем, что я привез два письма от императора: одно великому князю, а другое – княжне Марии с выражением пожелания со стороны его величества всяких благ будущей чете, и должен был вручить эти письма в то время, когда я признаю это удобным. Вы, конечно, поймете, княгиня, – обратился граф к Волконской, – что при том неотразимом влиянии, какое имеет князь Меншиков на царицу, он сумеет устроить дело так, что по вопросу о наследии престола она устранил своих дочерей, а корона перейдет к великому князю, так как прежде всего Меншиков пожелает видеть свою дочь русской царицей...

– Вот этого-то и не следует допускать, – гневно перебила Волконская, – тогда власть будет исключительно в руках Меншикова. Поэтому-то я и сказала вам, что вы содействовали еще большему его возвышению.

– Но что же оставалось делать? – пожимая плечами, спросил Рабутин. – Без пособия со стороны князя Меншикова корона перешла бы непременно к одной из дочерей императрицы Екатерины, а устранение великого князя от престола идет вразрез видам венского кабинета. – При этом разъяснении, в качестве дипломата, Рабутин представлял выгоды и для России. –

Быть может, вследствие вступления на престол великого князя император признает за новым царем императорский титул, в котором венский двор отказывал его деду, а также отказывает и нынешней царице. Такое признание было бы чрезвычайно важной уступкой со стороны венского кабинета, потому что во всем мире может существовать один только христианский император, как представитель священной империи...

– Которая, замечу кстати, и не существует на самом деле, – насмешливо возразила Волконская.

– Позволю себе заметить, что в данном случае действительность ничего не значит. Здесь важна идея, господствующая уже в продолжение девяти веков, – идея, что преемницею властвовавшей над всей вселенной Римской империи должна быть Германия.

– Вы, граф, время от времени посвящаете меня в политические вопросы, но, разумеется, не с русской, а с немецкой точки зрения. Впрочем, я достаточно свыклась с немцами, почти что выросла среди них, но это нисколько не мешает мне быть вполне русской женщиной, любить мое отечество и желать ему всех благ и, между прочим, желать, прежде всего, чтобы в нем не повторялось то прискорбное положение дел, какое представляется ныне, когда зазнавшийся временщик...

– Для устранения на будущее время подобных случаев и необходимо, чтобы у вас, в России, утвердился строгий порядок престолонаследия, и переход русской короны к великому князю Петру Алексеевичу, а затем и к будущему его потомству был бы первым к тому шагом. Не знаю, основательно ли это предположение, но, по крайней мере, мне кажется, что оно верно.

– Я от всей души желаю, чтоб великий князь был преемником ныне царствующей государыни, но под условием, чтобы будущий его тесть был отстранен от влияния на государственные дела, или – что было бы еще лучше – брак Петра Алексеевича с княжною Меншиковой вовсе не состоялся.

– Вы говорите как нельзя более справедливо, – подхватила Долгорукова, которая не могла не питать злобы против Меншикова, по проискам которого пострадал ее отец при императоре Петре.

– Но такая пора, как я думаю, придет сама собою. Великий князь возмужает, воля его окрепнет, и он, оказывая должное уважение своему тестю, без всякого сомнения, не станет допускать его вмешательства в свои личные распоряжения. В нем уже и теперь, как говорят, обнаруживается твердая воля, и если он заметно подчиняется влиянию своей сестры, то это только из горячей любви к ней.

– О, что касается влияния великой княжны Натальи Алексеевны, то оно не только ни для кого не может быть вредно, но, напротив, оно весьма желательно, – заметила Долгорукова.

– Да, эта девушка подает большие надежды. Она зреет умом не по летам, и какое у нее прекрасное сердце! Она и теперь внушает благоразумные и добрые советы своему брату, и он обыкновенно очень охотно подчиняется им, – сказала Волконская.

– Вот поэтому-то, княгиня, – заговорил, обращаясь к ней, Рабутин, – и было бы очень полезно, если бы великая княжна Наталья имела при себе умную руководительницу, которая утвердила бы над нею свою власть, разумеется, не давая ей это чувствовать... Отчего бы, например, вам не постараться получить при ней место гофмейстерины? – спросил Рабутин, пристально взглянув на Волконскую.

– Граф Рабутин высказал очень удачную мысль, – подхватила Долгорукова. – Великая княжна могла бы, находясь под вашим влиянием, добавить многое к тем врожденным качествам, которыми она теперь отличается. На получение вами должности гофмейстерины все знающие вас близко посмотрели бы не как на удовлетворение вашего честолюбия, но как на самопожертвование с вашей стороны. Теперь великая княжна, такая еще молоденькая

девушка, не имеет около себя рассудительной и доброжелательной ей наставницы, которая так необходима в ее нежном возрасте.

– Скромность моя была бы неуместна в нашем небольшом кружке. Я действительно постаралась бы внушить великой княжне все хорошее, но дело в том, что при нынешней обстановке двора я не могу надеяться на успех, а бесполезная попытка и тем более резкий и, пожалуй, даже неприличный отказ были бы для меня чрезвычайно тяжелым оскорблением. Я знаю, что светлейший князь будет против такого назначения, – заметила Волконская.

– Предоставьте мне, княгиня, озаботиться этим делом, насколько оно будет зависеть от Меншикова; вы в этом случае останетесь совершенно в стороне. Наш двор сумеет при моем посредстве внушить князю эту мысль, и тогда Меншиков не только с удовольствием согласится на это, но даже сам предложит вам должность гофмейстерины. Лично же вам нужно только убедиться в желании великой княжны, чтобы вы сделались близкою к ней особою. В свою очередь, конечно, и вы не откажетесь оказать нам ту или другую небольшую услугу, – любезно проговорил дипломат.

Он приостановился, и разговор на этом резко оборвался.

Волконская поднялась с места. Рабутин вскочил с кресел, поцеловал руку у хозяйки и у гостыи и, выйдя в прихожую, приостановился там, поджидая выходящую после него гостью.

– Я сегодня ожидаю депеш; по всей вероятности, в числе их вложено письмо вашего братца, и я не замедлю прислать его вам, – проговорил он шепотом княгине, сходящей с лестницы.

III

По прошествии нескольких дней после разговора с Рабутином у Долгоруковой Волконская отправилась к великой княжне Наталье Алексеевне, бывшей в то время как бы в загоне. Нареченная ее бабушка, императрица Екатерина Алексеевна, – с которой она жила вместе во дворце, – оказывала ей родственное внимание лишь настолько, чтобы не возбудить между русскими и иностранцами говора о нелюбви ее к родной внучке своего покойного мужа. Великая княжна была предоставлена как бы себе самой и росла под главным надзором пожилой француженки, госпожи Каро, к которой она не чувствовала особой привязанности. Со своей стороны, Каро не столько занималась развитием своей питомицы, сколько следила за теми, кто бывал у великой княжны, и хотя она плохо понимала по-русски, но тем не менее сообщала в качестве соглядательницы обо всем, что говорилось в комнатах Натальи Алексеевны. Для беседы Волконской с нею нужно было на некоторое время отвлечь воспитательницу, и потому Долгорукова условилась с Волконской, что приедет навестить госпожу Каро в то время, когда Волконская будет у великой княжны, и тем даст своей сообщнице возможность побеседовать наедине с молодой девушкой.

С первого взгляда на эту девушку можно было заметить, что она в физическом отношении пошла в своего деда, а не в хилого своего отца. Она была высока ростом и развивалась не по летам. По уму и по способности она также выдалась в деда и отличалась рассудительностью, пытливостью и большою любознательностью. Своею же кроткою наружностью и ровностью характера она напоминала свою рано скончавшуюся мать. Томное выражение ее голубых глаз и светлые локоны как бы свидетельствовали о ее германском происхождении по матери. Несмотря на ее чрезвычайную доброту, обходительность и кротость, она, где это было нужно, оказывала твердость и решительность и во всех отношениях далеко опережала своего брата, который был моложе ее только годом и тремя месяцами.

Наталья Алексеевна встретила Волконскую самым приветливым образом и видимо обрадовалась ее неожиданному приезду. Ей хотелось, как говорится, отвести с кем-нибудь душу.

«Хотя ты еще и очень молода и простодушна, как ребенок, но в тебе есть задатки, из которых можно сделать многое, нам очень пригодное», – мелькало в голове княгини Аграфены, или Агриппины, Петровны при взгляде на внуку Петра Великого.

Вошедшая княгиня сперва подобострастно поцеловала ручку великой княжны, а потом расцеловала ее, как родную.

– Приехала я навестить ваше высочество и навеститься, не могу ли я чем служить особе вашей, – сказала княгиня.

– Спасибо тебе, княгинюшка, что вздумала проведать меня. Я всегда рада видеть тебя. Садись, пожалуйста.

И Наталья Алексеевна принялась усаживать гостью в кресло, а сама села около нее на придвинутую табуретку.

– Здорова ли ты, дорогая моя? Что поделываешь? Имеешь ли весточки от братца твоего Алексея Петровича? Что он хорошего пишет? – расспрашивала Наталья Алексеевна.

– Поручил он вашему высочеству кланяться в ножки, – отвечала княгиня, приподнимаясь с кресел и как бы желая исполнить в точности поручение своего брата.

– Никак ты и в самом деле хочешь кланяться мне в ноги! – рассмеявшись, вскрикнула Наталья Алексеевна. – А я так тебе и привстать с кресел не дам! – И с детскою резвостью положила свои руки на плечи княгини. – А ведь я сильнее тебя буду...

– Точно что будете куда сильнее меня, – уступчиво проговорила Аграфена Петровна. – Только вам и силы против меня употреблять не нужно. Скажите лишь слово, так я всякое

ваше приказание исполню. Вот и теперь я сижу, не трогаясь, а куда хотелось бы мне поклониться вам в ножки не только от братца, но и от себя самой, да вы запретили и мне и другим это делать.

– Запретила это не я, а запретил это еще покойный мой дедушка. Ведь он объяснил, что человек должен падать лицом на землю только перед Богом, что только Господу Богу достоин такое поклонение, – живо возразила молодая девушка и, охватив рукою шею своей гостью, громко и крепко поцеловала ее в щеку и затем быстро отскочила от Волконской на середину комнаты.

– А ведь и в самом деле я сильна, – заговорила она, быстро засучив рукава своей робы до самого локтя.

Она подняла над своею головою еще детские руки, сложила их в кулаки и начали трясти ими, как это часто делают подростки, чувствующие в себе прилив силы и как будто желающие испытать ее.

– В дедушку будешь, – сказала княгиня. – Ух, какой он был силач!.. Впрочем, скажу я тебе, мой светик, ты девушка не только сильная, но и умная и от моих похвал не возгордишься, а станешь внимательнее к себе самой. Скажу я также тебе, что Господь Бог одарил тебя не только телесной силой, но и вложил тебе много вот куда! – При этих словах княгиня слегка постукала себя пальцем по лбу. – Ведь ты у нас разумница, все о тебе так и говорят, и недаром Отец Небесный тебя так высоко поставил – ты русская царевна, родная внучка такого великого государя, какого прежде во всем свете не бывало.

Наталья Алексеевна внимательно прислушивалась к словам своей собеседницы, говорившей с ней и льстиво-дружеским и поучительным голосом, но вдруг нижняя губа ее судорожно задрожала, а на глаза набежали слезы.

– Какое в том счастье, что я царевна! Лучше бы я родилась простой девушкой, да в такой семье, которая была бы счастливее нашей!

Голос ее прервался от сильного волнения, и она заслонила глаза рукой, желая скрыть брызнувшие из них слезы.

– Не грусти, моя голубушка, моя касаточка! – участливо заговорила княгиня. – Бог даст, все скоро переменится в твоей горемычной доле. Вот хоть бы, примером сказать, твои близкие родственники по твоей настоящей, а не названной только бабушке – Лопухины как много пострадали при твоём дедушке, а теперь опять входят в честь. Государыня изволила, по своей милости, пожаловать Наталью Федоровну в статс-дамы, и тем ей оказана большая честь. Знаю, хорошо знаю, что тебе несладко живется, моя горемычная сиротинка; растешь ты на чужих людях, и даже родная твоя бабушка, прежняя царица Авдотья Федоровна, как монашенка, сидит в заточении...

Наталья Алексеевна опустила в кресло и, склонив голову, слушала княгиню.

– А матушка моя? – как бы встрепенувшись, спросила она. – Разве мало натерпелась? А отец мой отчего умер? – И она задрожала всем телом. – Как ни таят от меня причину его смерти, но по многим речам я догадываюсь, как он скончался...

– Мало ли что в людях говорят, – успокоительно, но вместе с тем с оттенком двусмысленности сказала Волконская. – Пришел его последний час – вот и скончался. Ведь ты сама знаешь – в животе и смерти волен один Бог.

– Нет, нет, Аграфенушка, тут иное было дело. Ты должна знать все, но только ты, как и другие, таишь от меня правду. Но рано или поздно, а я все узнаю. Да и отчего царствует не мой брат, как следовало бы по старине, а Екатерина Алексеевна?

– На то была, знать, воля Божия. Придет когда-нибудь и его черед, если это ему суждено Господом, – внушающим покорностью голосом говорила княгиня.

– Да и царствует ли еще она? Не правит ли ныне государством Меншиков, а она-то сама и указов подписать не может, а подписывает за нее Лизавета.

Раздражение молодой девушки усиливалось. Щеки ее горели ярким румянцем.

– Будь осторожнее, Наташа, – погрозив слегка пальцем, внушала ей княгиня. – За неистовые речи и ты, чего доброго, в монастырь на безысходное заточение попасть можешь...

– Как царевна Софья Алексеевна? – перебила с живостью великая княжна. – Так ведь та шла против своего брата, а я Петрушу так люблю, что отдала бы за него мою жизнь. Да и горюю-то я не о себе, а о нем. Чего доброго, изведут его лихие люди.

– Извести не изведут, а напротив, как женится на дочери светлейшего, так попадет в милость к царице.

– Не ему искать милости через Меншикова, Петрушу следует избавить из-под его власти, – вспыхнула Наталья Алексеевна.

– Эх, золотая моя, – дружески заговорила Волконская, – нет около тебя никого, кто бы дал тебе совет, а ты сама еще такая молоденькая, что многого в толк взять не можешь.

– Вот бы назначили тебя, княгинюшка, ко мне обер-гоф-мейстериней! Да ты, пожалуй, и не пошла бы на эту должность. Не захотела бы возиться со мною; ведь я по временам бываю такая супротивная и сердитая.

На лице княгини появилось выражение удовольствия.

– За счастье почла бы я это, ваше высочество, – проговорила почтительно она.

– Зачем ты говоришь мне «высочество»? Титул этот перевели с немецкого для моей матери; так звали ее потому, что она была германская принцесса, а я – русская великая княжна. Да и сколько раз я просила тебя, чтобы ты просто звала меня Наташей. Знаешь ли, что, кроме брата, никто так ласково не зовет меня, точно я всем чужая и словно со мной никто от сердца говорить не хочет. Ах, впрочем, нет, что ж я забыла: зовут меня так и Катерина Алексеевна, и ее дочери, – насмешливо добавила она. – Да от сердца ли?

Волконская не дала Наталье Алексеевне закончить того, что она хотела сказать. Она взяла ее за обе руки и потянула к себе, а молодая девушка, приблизившись к ней, положила свою головку на ее плечо.

– Ну, хорошо, пусть будет по-твоему: Наташа, Натальюшка, – говорила Волконская, ласково глядя ее по голове, а она все крепче прижималась к своей собеседнице, радуясь, что хоть кто-нибудь приголубил ее так сердечно.

IV

В то время, когда в Петербурге возбуждался вопрос о наследии русского престола, в Вене шла речь о том же самом по отношению к австрийским владениям, но причины, возбуждавшие здесь и там эти вопросы, были не только различны, но даже и противоположны одна другой. У нас при этом возникало затруднение ввиду нескольких лиц, которые, по разным основаниям, считали себя вправе получить русскую корону. В Вене же, наоборот, оказывался недостаток в лицах, имевших право на австрийское наследство. Римско-немецкого императора Карла VI Господь Бог не избыточно благословил потомством, да вдобавок к тому лишил его мужеского поколения, так что он оказывался последним из Габсбургов по мужскому колену, наследственные права которого не могли бы подлежать никакому сомнению и спору. Была у него единственная лишь дочь Мария-Терезия. Не только родительская любовь, но и чувство династического тщеславия побуждали последнего представителя Габсбургского дома призадуматься над тем, что станется после смерти и с его дочерью-отроковицею, и с его обширным державным имуществом, которое без перерыва в течение многих веков переходило от одного поколения Габсбургов к другому в неприкосновенной целостности и которое после смерти Карла должно было делиться между несколькими наследниками. Карл видел, что вследствие такого раздела померкнет слава и блеск Габсбургского дома, который в течение многих веков передавал так удачно свое политическое могущество из рода в род. Были у Карла еще две родные племянницы: одна за курфюрстом Баварским, другая за курфюрстом Саксонским, а вместе с тем и королем польским, и Карлу VI небезосновательно казалось, что эти две курфюрстины обидят его возлюбленную дочь. Такой прискорбный исход дела нужно было предупредить, обеспечив заранее судьбу подраставшей Марии-Терезии. Передача ей избирательным порядком римско-немецкого императорского достоинства, к которому уже издавна привыкли предки Карла и считали его как бы наследственным в своем роде, оказывалась невозможной, как особе женского пола. Поэтому родитель Марии-Терезии начал думать о том, как бы утвердить за нею хоть родовые свои владения, а владения эти были весьма значительны: Австрия, Венгрия, Богемия, Тироль, Штирия, Каринтия и прочие признавали над собою наследственную власть Габсбургов. Могла Мария-Терезия именоваться по этим владениям и королевою, и эрцгерцогинею, и герцогинею, и маркграфинею, и княжною, и графинею, присоединив к такому разнообразному титулу еще наследственный титул королевы Иерусалимской. Но все это нужно было уладить заранее, и уладить так, чтобы по кончине Карла VI никто не дерзнул бы оспаривать у его дочери ни ее владений, ни ее титулов.

Такие мысли об устройстве будущей участи римско-немецкой цесаревны, с прибавлением высказываемых тоскливым голосом сетований на свою собственную судьбу, – нередко передавал Карл VI своим близким советникам. Из них каждый, по мере своей находчивости, старался успокаивать своего повелителя и придумывать разного рода утешения, и мирские, и религиозные, для ослабления его державной скорби и родительских тревог. При этих утешениях кесарь становился веселее и, казалось, совершенно спокойно переходил к разговорам об изящных искусствах, до которых он, к чести его, был страстный охотник. Заботливым же царедворцам только и нужно было, чтоб так или иначе ослабить хоть несколько настоящую его кручину. Нашелся среди них правдивый и вместе с тем чрезвычайно ловкий человек, некто граф Тун-фон-Гогенштейн.

– Приемлю смелость всеподданнейше доложить вашему величеству, – заговорил он однажды перед императором с большою запинкою свою, хотя уже и заранее подготовленную и вытверженную речь, – осмелюсь доложить, что родительские попечения ваши о высокоурожденной дочери вашей и заботы ваши о благе вверенных вам Провидением народов

не столь легко осуществимы, как сие представляется с первого взгляда. Простите, всемилостивейший государь, смелость моей речи, но я, по внутреннему убеждению, счел долгом повергнуть по этому предмету мои мысли на ваше высочайшее благоусмотрение...

– Я что-то вас не совсем понимаю, любезный граф, – не без некоторого удивления отозвался император. – Потрудитесь выражаться яснее, с полной откровенностью. Вы, вероятно, желаете сообщить мне что-нибудь чрезвычайно важное, и я готов выслушать вас.

– Долгое время я не решался утруждать ваше величество изложением моего взгляда на вопрос престолонаследия: тяжело не только затронуть его, но и подумать о нем каждому из ваших верноподданных, и вы, вероятно, изволили заметить, что в бывшем по этому делу заседании совета я безмолвствовал. Но теперь, когда решено приступить к осуществлению высказанных в совете предположений, молчание мое не соответствовало бы той преданности, какую я питаю и к вашей особе, и к возлюбленной всеми юной эрцгерцогине. Я не могу умолчать в настоящее время о тех затруднениях и о тех опасениях, какие неизбежно встретятся при этом...

– Какие же тут могут быть затруднения? – взволнованным голосом спросил Карл. – Ведь государственные члены и Венгрии, и Богемии, и всех вообще наследственных наших областей, без всякого сомнения, согласятся признать над собою верховную власть моей дочери и ее потомства, если Господь благословит ее чадородием. – При этих словах император тяжело вздохнул. – Меня в этом все уверяют и теперь. Мало того, и венгерские магнаты, и богемские вельможи изъявляют полную готовность поддержать мои намерения относительно престолонаследия после моей смерти.

– О государь, не может быть ни малейшего сомнения, что и Венгрия, и Богемия, и все коренные земли вашей монархии с радостью останутся под управлением прославленного вашего дома, хотя бы, по воле судеб, и явилась представителем его особа женского пола. Притом во всех этих королевствах и областях нет даже такого устава, который устранил бы женский пол от престолонаследия. В этом отношении, ваше величество, можете быть совершенно спокойны. Тем не менее советники ваши, всегда столь мудрые и прозорливые, упустили в данном случае одно чрезвычайно важное обстоятельство...

– Какое именно? Садитесь, граф, и объясните мне, в чем же заключается их недосмотр.

– Иностранные дворы ввиду могущих быть замешательств воспользуются ими, чтобы ослабить могущество и значение Австрии. Они станут отрицать под разными предлогами права эрцгерцогини на наследственные земли и примутся помогать тем, кто объявит свои притязания на наследие по пресечении мужской линии высочайшего Габсбургского дома.

– Искренно благодарю вас, любезнейший граф, за ваше указание. Вы обратили внимание на такую сторону дела, которая ускользнула как-то от других. Теперь, действительно, вся Европа ищет разных политических усложнений. Каждый кабинет хочет вредить другому и с этою целью прибегает к разным средствам, не обходя даже самых неблагоприятных. Еще раз благодарю вас и прошу вашего совета насчет того, как бы устроить дело таким образом, чтобы устранить все могущие встретиться в будущем запутанности и усложнения и предупредить предусматриваемую опасность.

– По моему мнению, – начал Тун, – необходимо прежде всего заручиться таким актом, подписанным первенствующими европейскими дворами, который обеспечивал бы нераздельность владений вашего царствующего дома при переходе их к эрцгерцогине. Да продлит Всевышний драгоценные дни ваши, всемилостивейший государь! – с чувством, возведя глаза вверх, сказал Тун. – Но все же государственная мудрость требует предвидеть заранее то положение, в каком может оказаться каждое государство при совершившейся в нем коренной перемене...

– Замечание ваше совершенно верно. Я давно чувствовал необходимость в такой задушевной беседе, какую я веду теперь с вами. Но к каким же дворам должен я обратиться

с предложением такого рода? На курфюрстов вообще полагаться нельзя: у каждого из них свои личные виды, а двое в числе их, именно курфюрсты Баварский и Саксонский – как доходят до меня слухи – не только не желают поддерживать моих намерений, но еще думают в случае моей смерти воспользоваться частью так называемого ими австрийского наследства. Кроме того, и король прусский, роясь в архивах, отыскивает какие-то права Бранденбург-Гогенцоллернского дома на Силезию, так что монархии моей грозит раздел.

– Надобно будет обратиться к Франции, Англии, Испании, Неаполю, Швеции, Дании, – бойко стал высчитывать Тун. – Я перечислил, государь, все значительные дворы, поддержка которых оказывается необходимою.

– И не пропустили ни одного? – пытливо спросил император.

– Ни одного, ваше величество, – твердо проговорил граф.

На лице Карла появилось выражение удовольствия.

– А русский двор? О России-то вы, мой друг, и забыли.

Вот хорошо! – И кесарь самодовольно расхохотался. – Вы теперь, любезный граф, напомнили мне испанцев, которые не так давно, отправляясь на войну против Португалии, запаслись всем и только забыли взять с собою порох.

Император продолжал смеяться, и ему весело вторил его собеседник.

Граф Тун хорошо знал то важное значение, какое в настоящем случае должна была иметь Россия, но, как сметливый придворный, он нарочно прикинулся недогадливым, чтобы доставить над собою торжество своему царственному собеседнику. После того как он решился указать императору на его недогадливость вообще, ему казалось необходимым наверстать эту смелость какой-нибудь оплошностью с своей стороны, и такой ловкий прием удался ему как нельзя более.

– Ваше величество изволили очень метко заметить насчет моей недогадливости. В самом деле, я забыл о России, тогда как она должна была бы быть упомянута едва ли не прежде всех других европейских держав. Вы изволили быть ко мне слишком снисходительны, только сравнив меня с испанцами, позабывшими главный воинский снаряд – порох. Я просто-напросто заслуживаю названия бестолкового и беспамятного человека, а еще осмеливаюсь являться к вам с советами о политической предусмотрительности. Хорош советник: забыл о России? – трунил над самим собою граф, видя, что его притворная оплошность доставляла Карлу большое удовольствие.

– А знаете, граф, – сказал император, принимая величавый вид, – ведь та мысль, которую вы мне теперь высказали, еще и прежде как будто бродила у меня в голове. Мне самому казалось, что как будто чего-то недостает для полноты и законченности моего плана.

– Мало того, я откровенно должен сознаться, что некоторым образом я даже похитил вашу мысль. Вы однажды изволили сделать намек на возможность того положения дел, на которое я теперь позволил себе указать вашему величеству. Вы были, если так можно выразиться, моим вдохновителем.

Карл, по-видимому, силился что-то припомнить.

– Так, действительно так, теперь я вспоминаю. Точно, я говорил об этом. Какая у вас прекрасная память, граф. Но у меня столько забот и занятий, что голова идет кругом. – И он потер рукою по лбу. – Во всяком случае, разговор наш должен остаться только между нами.

– Без всякого сомнения, государь.

– Теперь я хочу посоветоваться с вами далее, по этому же делу. Кого назначить мне в Петербург для ведения переговоров?

– Позвольте несколько сообразить, ваше величество. – И Тун сделал вид, будто он погрузился в глубокомысленные соображения. – Я полагаю, что граф Рабутин мог бы быть очень пригоден для исполнения подобного поручения. Он умен, ловок и сумеет сойтись близко с теми лицами, которые в Петербурге будут нам нужны.

– И преимущественно с дамами, – улыбнувшись, заметил император. – О, иногда они бывают очень нужны для ведения при их участии дипломатических дел. Жаль только, что господин Рабутин не соответствует важности того двора, к которому он будет отправлен. Он для этого еще молод и не занимал пока никакого высокого поста, а в Петербурге теперь стали очень щекотливы в отношении оценки иностранных представителей.

– Но, ваше величество, – заговорил Тун, – ему и незачем будет придавать знатного характера. Предлог же для посылки в Петербург именно не особенно знатной особы представляется очень удобным...

– Ах да! С ним можно отправить письма, в которых я выражаю мое согласие на брак великого князя Петра с принцессою Меншиковой. Вот и прекрасно! Он обо всем поразведает там, а после того, смотря по ходу дел, можно будет заменить его другим, более важным лицом.

– Которому вы, ваше величество, и соизволите поручить постараться о том, чтобы русский престол по кончине ныне царствующей государыни перешел к великому князю.

Император встрепенулся и закусил слишком заметно выдававшуюся вперед нижнюю губу, этот наследственный признак всех членов Габсбургского дома. Видно было, что высказанная графом Туном мысль как будто поразила его новизною, но он не хотел обнаружить своего ощущения.

– Об этом я подумаю, время еще будет, – закончил он разговор, начатый его собеседником. – А графа Рабутина я приму завтра в восемь часов утра в особой аудиенции. Сообщите ему об этом.

На эти слова Тун ответил императору почтительным поклоном.

Тун, чрезвычайно довольный исходом свидания с его величеством, быстро сходил с парадной лестницы Гофбурга и, выбравшись в своей карете из укреплений, окружавших в ту пору императорскую резиденцию в Вене, приказал кучеру ехать к баронессе Целлер.

V

С торжествующим видом вошел Тун к своей старинной знакомой, не раз содействовавшей разным его замыслам посредством своей близости к императрице, супруге Карла VI.

– Вижу, что все устроилось удачно, – торопливо заговорила вертлявая и не слишком красивая дама, встречая приветливо приехавшего к ней гостя. – По вашему лицу сейчас заметно, что в Гофбурге удалось вам все как нельзя лучше.

– Вы угадали, мой высокоуважаемый друг, моя чудная Эгерия, – сказал Тун, приятельски целуя протянутую ему руку баронессы. – Рабутин на днях будет отправлен в Петербург.

Целлер ласково потрепала по плечу Туна.

– Сегодня в три часа придет ко мне известная вам особа справиться, чем мы покончили дело относительно ее обожателя. Значит, ее можно будет порадовать приятною вестью? – спросила баронесса.

– Можно, но, разумеется, под условием строгой тайны. Хотя император и выразил уже свое согласие, но он может переменить свой взгляд на это дело, – слегка отдуваясь, проговорил Тун. – А если бы вы знали, мой друг, с каким ужасным трудом мне удалось добиться этого! Можно сказать, что каждому моему слову император противопоставил десятки, куда десятки – сотни возражений, и представьте мое тягостное и щекотливое положение, когда я должен был опровергать их.

– Расскажите же все, как было, – сказала Целлер Туно, который держал в своей руке ее руку и по временам целовал ее. – Вы, конечно, повели дело так, как я вам говорила?

– Мог ли я, дорогая Клара, нарушить ваши инструкции, в основании которых лежит всегда так много ума и проницательности. Но все-таки борьба была сильная. Мне пришлось затронуть самолюбие императора, который, при всех его добрых качествах, все-таки человек чрезвычайно тщеславный, так что я находился в крайне неловком положении во время моей с ним аудиенции.

– Бедненький! – сказала участливо баронесса. – Но за ваши труды я, бесценный мой сотрудник, надеюсь в скором времени порадовать вас известием о пожаловании вам Клозенбурга, который вам так давно хочется получить.

Тун встал с кресел и низко поклонился своей покровительнице.

– Благодарю вас еще раз, – сказала она. – А теперь отправляйтесь, мой друг, домой и отдохните после ваших хлопот, – шутливо добавила Целлер, дружески выпроваживая Туна. – Сейчас ко мне придет кое-кто, и мне нежелательно, чтобы они встретились сегодня с вами в моем доме. Относительно этого у меня свои особые, весьма важные соображения.

– Нехотя повинуюсь вам, но что делать! – сказал Тун, раскланиваясь с хозяйкой.

Спустя немного времени в гостиную баронессы медленно вошла чопорно-изящная старушка, одна из родственниц и усердных покровительниц Рабутина. Она с большим удовольствием услышала весть о назначении его чрезвычайным посланником в Петербург, переданную ей, разумеется, под условием сохранения самой строгой тайны.

– Без всякого сомнения, вы теперь, в свою очередь, постарайтесь о предоставлении Клозенбурга графу Туно. Право, он этого стоит. Пускай император пожалует ему это имение на первый раз на ленном праве. Ведь это ближайшим и главным образом зависит от вашего супруга. Пусть при случае, но только как можно скорее, он напомним императору, что это имение теперь свободно. Повторяю еще раз, что граф Тун стоит такой награды.

– Непременно, непременно исполню ваше желание, – бормотала гостья, рассыпаясь в благодарностях при прощании с Целлер.

Но если приезд покровительницы Рабутина представлял для баронессы известную важность, то приезд другой ожидаемой ею гостьи заставлял ее улыбаться. Здесь шел совсем иной вопрос, так как здесь дело велось по сердечной части.

Ожидаемая гостья тоже не замедлила явиться к баронессе в виде молоденькой и хорошенькой особы, от которой как будто веяло и непостоянством, и женскою шаловливостью.

– Ну что, – спросила она, впорхнув в гостиную и не поздоровавшись даже с хозяйкой, – спровадили моего дружка, и далеко?..

– Далеко, в Петербург, – отвечала весело баронесса, махнув перед собой рукой в знак далекого пути.

– Вот и прекрасно! – воскликнула радостно молодая дамочка и бросилась целовать баронессу. – Вы оказали мне самую дружескую услугу. Да и он долго горевать не будет. Ах, если бы вы знали, какой он влюбчивый и какой он ветренный... Боже мой, что это за человек!..

– Тогда как вы, с вашей стороны, милая моя Луиза, платили ему таким постоянством, – улыбнувшись, заметила баронесса, – и поделом ему, изменнику. Хорошо бы сделали русские, если бы они запрятали его подольше, в Сибирь. Так?.. Вы согласны с этим?

– Что вы, что вы, баронесса! Нет, этого не надобно, это будет уже слишком жестоко, – надув губки, проговорила гостья. – Кто знает, быть может, я скоро пожелаю, чтобы он вернулся назад в Вену. Ведь это делается, собственно, только в виде опыта, а отчасти и в виде легкого наказания за его ветренность. Представьте, я недели три тому назад достоверно узнала, что он очень неравнодушен к певице Баттони. Она действительно очень миленькое создание, да мне-то какое до этого дело! Для меня это все равно! Так пусть он на время уедет из Вены, а я покажу ему, что я могу обойтись и без него...

«Какой сегодня вышел удачный день», – думала баронесса по отъезде молодой вдовушки, припоминая радость чопорной старушки при вести о назначении Рабутина на важный дипломатический пост и об удовольствии вдовушки по поводу его отъезда в Петербург. Она знала, что уже другой, красавец-венгерец, владел сердцем ветреной дамочки и что этой последней хотелось поскорее сбывать куда-нибудь подальше прискучившего уже ей обожателя, чтобы на время его отсутствия из Вены воспользоваться полною свободой, не входя с ним ни в какие объяснения и притворяясь, что она огорчена его внезапным отсутствием.

Что же касается Рабутина, то и он, в свою очередь, не слишком горевал о предстоящей разлуке. Он был такой же ветреник, как его родной дедушка, граф Рабютэн-Бюсси, некогда довольно известный французский писатель, натерпевшийся немало горя и из-за женщины, и из-за литературы. Одна маркиза, которой он изменил, жестоко отомстила ему, насплетничав при дворе Людовику XIV, что появившаяся в Париже книжка под заглавием «Histoire amoureuse des Gaules», в которой повествовались не воинские и царственные подвиги королей французских, а только их любовные похождения, сочинена была Рабютэном. Расправа с мнимым автором этой книжки со стороны Людовика XIV была очень коротка по самому ее исполнению, но зато очень продолжительна по ее последствию. Его без суда и допроса запрятали в Бастилию. Там безвыходно просидел он семнадцать лет, до тех пор, пока в часы одиночества надумал чересчур льстивую историю Людовика XIV, конечно, без малейшего упоминания об его амурных похождениях, а, напротив, выставляя его образцом степенности и скромности. За эту книгу и прежде ни в чем не повинный Рабютэн получил всемиловейшее прощение. Ему даже дозволено было показаться при дворе, но там он был принят чрезвычайно холодно, и фамилия графов Рабютэн, стоявшая некогда в ряду первых французских царедворцев, потеряла свое прежнее, весьма заметное положение. Огорченный этим, сын узника-писателя перебрался из Франции в Австрию, где фамилию его Rabutin стали произносить по немецкому чтению – Рабутин, и сын его стал известен в наших дипломатических сношениях с венским кабинетом, а, пожалуй, отчасти и в нашей истории прошлого столетия под фамилией Рабутин, а не Рабютэн.

Быть может, несчастья, изведенные дедушкой Рабутина при версальском дворе, отбили у него охоту к сочинительству, – так как он не писал никаких сочинений, занимаясь только составлением любовных писем и дипломатических сообщений, – но не отвಾದили его от волокитства. Уезжая в Петербург, австрийский дипломат главным образом основывал, пока только еще в воображении, свои успехи на сердечных отношениях к представительницам прекрасного пола. Для этого было у него немало задатков. Он был в цвете лет, красив собою, богат, смел и вкрадчив, так что имел все необходимые качества для успеха в большом свете. Унаследованные им от предков любезность и изящество тогдашнего французского дворянина соединялись в нем в случае надобности с последовательностью и устойчивостью немца. Короче сказать, Карл VI, благодаря указанию Туна, не мог бы из среды блестящей венской аристократии выбрать никого другого, кто бы так хорошо, как граф Рабутин, подходил для исполнения данного ему поручения.

При венском дворе лучше, чем где-нибудь, знали обо всем, что делалось тогда в Петербурге. Не только агенты Австрии, являвшиеся туда в разных видах, внимательно и зорко следили за всем, что там происходило, но и сами русские служили передатчиками пригодных для Австрии сведений из России, и в числе таких лиц был русский министр-резидент в Копенгагене Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, находившийся в самых близких отношениях к венскому кабинету. Хотя он давно уже не жил в России, но знал всю подноготную благодаря сестре своей, княгине Аграфене Петровне Волконской. Полученные им от нее сведения он передавал по принадлежности в Вену, и таким образом ехавшему в Петербург Рабутину были уже достаточно подготовлены средства для его дипломатической деятельности в новой русской столице. Немало было у него разных нитей, которые с успехом могла приводить в движение его смелая рука, и Рабутин был на это не промах.

В Петербурге его встретили с почетом, как цесарского посла, и радушно, как умного и любезного человека, который умел с первого же раза понравиться каждому и в особенности каждой. Преемственная хитрость австрийской дипломатии и неразборчивость со стороны ее в выборе тех средств, которыми можно было воспользоваться для получения выгод венским кабинетом, в значительной степени облегчали Рабутину предстоявшую ему дипломатическую деятельность при русском дворе. Венский кабинет не жалел денежных средств на подкупы, на пенсии и на награды в тех случаях, где такие средства, смотря по обстоятельствам и лицам, оказывались нужными, и такое употребление денег было чрезвычайно важным условием для осуществления разных политических планов. Из напечатанной ныне переписки иностранных дипломатических агентов, находившихся в Петербурге в первой половине прошлого столетия, оказывается, что не только второстепенные служилые лица, но и «знатные обоого пола персоны» из русских были на жалованье у разных иностранных дворов. Дело доходило до того, что после смерти Петра Великого даже обладатель такого несметного богатства, как князь Меншиков, состоял на жалованье шведского кабинета, сообщая ему обо всем, что предпринималось в Петербурге по части внешней политики.

При жизни Петра I Австрия старалась, а отчасти и успевала влиять на политику России через императрицу Екатерину, а для воздействия был избран известный Монс; но когда голова этого очаровательного кавалера отлетела на плахе, то венский кабинет, как полезный для себя рычаг, наметил любимую камер-юнгферу императрицы госпожу Крамер. На нее было указано и графу Рабутину при отъезде его из Вены. Подобные указания были бы собственнно для него совершенно излишни, так как он сам по себе легко мог отыскать все пути и лазейки, тем более что в Петербурге он при посредстве Алексея Петровича Бестужева должен был на первых же порах близко сойтись с такою умною, хитрою и ловкою женщиной, какою была сестра Бестужева, княгиня Аграфена Петровна Волконская.

Немного нужно было Рабутину времени, чтобы приобрести себе внимание со стороны других петербургских дам и начать учить их плетению придворных кружев по его узорам.

VI

Ко времени приезда Рабутина в Петербург этот только что начинавший обстраиваться город представлял странное зрелище для приехавшего туда с запада иностранца, привыкшего к иному складу городской жизни вообще и в частности – к иной обстановке столиц, хотя бы и самых значительных европейских государств. Там, в таких государствах, выстроены были более или менее обширные и роскошные замки и дворцы местных владетелей, то в готическом, то в итальянском вкусе; там возвышались храмы – произведения средневекового зодчества. Города эти были перерезаны тесными, извилистыми улицами, с узкими, в несколько этажей каменными домами, плотно жавшимися друг к другу. В западноевропейских городах все жили плотно друг с другом, не раскидываясь на широком пространстве, а такое сожителство служило как бы выражением тогдашнего корпоративного быта западных городов. В новой же русской столице, которая, с точки зрения ее основателя, должна была сделаться средоточием нашей морской торговли и в которой, за неимением еще нами доступа к водам Черного моря, должен был создаться наш военный флот, – все пока носило отпечаток новизны, вовсе не изящной. Все жили еще вразброс, как бы отдельными слободами и посадами, и в этом последнем отношении Петербург как нельзя более напоминал покинутую царем Москву, от которой, в противоположность новой столице, веяло стариною.

Главной местностью Петербурга мог в ту пору считаться Васильевский остров, на котором выстроены были Сенат и высшие правительственные учреждения – коллегии. Здесь же сосредоточивалась на жительство самая деятельная в торговом отношении и любимая государем часть петербургского населения – голландцы, а также англичане и вообще иностранцы под общим у русских названием «немцев». Петербургская сторона с построенною на одном из ее берегов гранитною крепостью, напоминавшею о близости только недавно укрощенного врага, была занята разными воинскими командами. На правом берегу Невы, противоположном Васильевскому острову, – Петербургской стороне, размещались придворный и служилый люд, а также и прибывающие в Петербург новые поселенцы из русских. Здесь были как бы особые части города, занятые солдатами, артиллеристами-канонирами, подьячими, мещанами, плотниками и разными ремесленниками. Город был еще небольшой и куда как бедно построенный и, разумеется, без всяких следов не только древности, но даже и старины. Значительное пространство в тогдашней его черте оставалось еще пустым и было покрыто лесом с болотами и топями, и в нем проводили длинные просеки, или перспективы. Росший же прежде по обоим берегам Невы густой лес был уже вырублен, и Нева, еще не обделанная в гранит, прельщала иностранцев своим величественным течением.

На одном из ее берегов среди зелени виднелось двухэтажное длинное здание с широким, утвержденным на каменных столбах балконом, с большим дугообразным фронтоном, над которым возвышался невысокий купол или башенка, обложенная позолоченной жестью. Перед этим домом, едва ли не самым лучшим во всем тогдашнем Петербурге, у самого спуска с берега Невы стоял большой десятивесельный, богато убранный катер с бархатным над ним балдахинном, увенчанным огромною золотою княжескою короною. Когда этот катер проезжал через Неву, то все плывшие по реке и большие, и малые суда сдерживали свой ход, боясь, как бы своим приближением не потревожить бег великолепного катера. Стоявшие на берегу люди внимательно следили за ходом катера и при его приближении почтиительно снимали шапки. Такой почет оказывался владельцу этого катера, сильнейшему в то время в России вельможе, светлейшему князю Александру Даниловичу Меншикову, герцогу Ижорскому. Все знали, что царствовавшая в то время императрица подчинялась во всем безусловно его воле и что он мог делать все, что ему было угодно. В городе ходили настойчивые слухи, что князь сделается вскоре еще могущественнее, так как старшая дочь его выйдет

замуж за великого князя Петра Алексеевича, который по смерти императрицы может наследовать престол, и таким образом князь делается тестем государя, который, как незрелый и неопытный юноша, будет следовать во всем внушениям и советам своего тестя.

Князь и теперь уже жил среди такой пышной и роскошной обстановки, перед которой обстановка царя Петра казалась не только скромностью, но и просто убожеством. Всего, что могла доставить тогда Европа для поддержания роскоши, пышности и великолепия, было у него вдоволь. Редкие заморские растения и цветы наполняли его теплицы; зеркала, позолота, гобелены, мрамор, дорогие ткани, бронза украшали его чертоги. Окруженный богатством и почестями, он, однако, впадал иногда в глубокое раздумье, как бы предчувствуя непрочность своего высокого, исключительного положения, но раздумье это было обыкновенно весьма непродолжительно, так как на помощь ему тотчас приходили и бодрость, и самоуверенность, и решимость беспощадно расправляться со своими недоброжелателями и, уничтожив всех своих явных врагов, добраться так или иначе и до тайных недругов.

«И не в таких переделках бывал я еще при царе Петре, – думал порою он, – да всегда дело кончалось во вред моим противникам, а теперь мне с ними рассчитывать гораздо легче, нежели в прежнее время».

Раздумывая об этом, Меншиков невольно припоминал протекшую свою жизнь, с той поры, когда он ничтожным Алексашкой начал свое поприще нравственным позором и рубкою в Москве стрельцких голов на плахе. Многие из бывшего быстро мелькало в его мыслях: и поля битв, на которых он отличался доблестью, и шумные пиры; посреди этих воспоминаний являлся чаще всего облик молоденькой лифляндской пленницы, взятой им в свой дом у фельдмаршала Шереметева и сделавшейся теперь повелительницею России; припоминалась ему и ходившая по его спине дубинка грозного царя, так часто миловавшего своего любимца за то, за что другие виновные получали страшное возмездие. Невольно он видел в своей жизни какое-то особенное предназначение и верил в свое счастье, которое должно было охранять его, как баловня судьбы, от всяких наступавших на него несчастий. Промелькнул перед ним и призрак царевича Алексея, но не смутился в своей совести Меншиков, считая себя невиновным в его гибели.

«Я тут был ни при чем. Пусть укоряют меня, как хотят, но совесть моя в этом деле спокойна», – думал он при этом воспоминании.

Однажды во время такого раздумья домоуправитель князя, или, как называли его, маршалок, осторожным шагом вошел в кабинет князя-герцога.

– Что тебе нужно? – отрывисто спросил он своего ближайшего наперсника.

– Пришел доложить вашей светлости, что его королевское высочество прибыть к вам не может. Изволили отозваться нездоровьем, – добавил маршалок.

Взволнованный этим докладом, Меншиков быстро приподнялся с кресел и заходил большими шагами по комнате, в то время как его служитель, прижавшись к стене, стоял неподвижно в ожидании распоряжений своего господина.

– Да он мне вовсе и не нужен, – презрительно сказал Меншиков, скрывая свою досаду. «Я потребовал его к себе, – подумал князь, – для того только, чтобы убедиться в его покорности, так как замечаю, что он все выше и выше задирает нос, надеясь на свою тещу и на заступничество своей жены, но с ним я сумею поступить так, как он вовсе не ожидал». – Ступай и позови ко мне сейчас Андрея Яковлева, – сказал он сурово, обращаясь к маршалку, отвесившему ему в ответ на эти слова раболепный поклон и кинувшемуся опрометью, чтобы исполнить приказание князя.

Меншиков, сильно волнуясь, продолжал ходить по комнате, когда к нему явился потребованный им его секретарь Яковлев.

– Садись и напиши сейчас указ Верховному совету о прекращении герцогу Голштинскому пожалованных ему с острова Эзеля доходов; вот перо, а вот и бумага, – сказал Меншиков, повелительно указывая секретарю рукою на стол. – Садись на мое место и пиши.

Секретарю, привыкшему только стоять неподвижно перед князем, было не только неловко, но и как-то боязно усесться за стол, да притом еще и на великолепное кресло князя, и он мялся на месте.

– Слышал, что я тебе приказал? Садись и пиши.

Секретарь повиновался, и перо закрипело под его дрожащею рукою.

Меншиков подошел к столу, оперся на него одною рукою и продиктовал, что следовало написать. Указ был краток и изложен не совсем складно. В нем не приводилось никаких причин и никаких поводов к тому распоряжению, которое в нем прописывалось и которое так неожиданно направлено было против зятя государыни. Меншиков приказал секретарю прочесть вслух написанное.

– Так будет ладно. Чего тут вступать в объяснения с этим немцем, да и не поймет он толком их. Живет в России лет пять и еще слова не научился по-русски, а между тем хочет вмешиваться и требует себе царских почестей. Как же!.. Так вот я сейчас и уступлю ему первенство... Теперь опомнится. А то и совсем его выпровожу отсюда подобру-поздорову, – бормотал про себя князь. – Теперь ступай отсюда и вели сейчас же запрячь парадную карету, а сам вернись ко мне, – сказал он Яковлеву.

Секретарь исполнил данное ему приказание и снова явился к князю.

Заметно было, что князь, несмотря на все его желание казаться спокойным, был сильно встревожен решительною мерою, предпринятою им против герцога. Он понимал очень хорошо, что вступает в решительную борьбу со своим главным противником. Правда, герцог сам по себе, как личность вовсе незначительная, не мог быть опасен умному и смелому временщику. Герцога не только не любили все русские, но просто даже ненавидели за его высокомерие. Но поддержка у него для борьбы с Меншиковым, казалось, найдется весьма сильная. Супруга его, цесаревна Анна Петровна, была не только любимую дочерью императрицы, но и все русские были расположены к ней за ее доброту и обходительность, как бы составлявшие противоположность отталкивающим свойствам ее мужа, который вдобавок к своим недостаткам любил еще и выпить. Петр Великий оказывал ему полное пренебрежение и не соглашался выдать Анну за герцога, так что брак его с нею мог состояться только после кончины государя.

– А что толкуют в городе? – спросил князь возвратившегося в кабинет секретаря. – Чай, крепко меня оговаривают?

– Да разве можно оговаривать в чем-нибудь особу, столь непричастную никакому злу, каковую изволите быть ваша светлость? – поспешил ответить секретарь.

– Вы все передо мною лицемерите, – презрительно перебил князь льстеца. – И ты сам бог весть что обо мне за глаза говоришь в угоду моим хулителям...

– Сохрани меня и помилуй, Господи! – вскрикнул, открещиваясь, испуганный секретарь. – Всем и каждому прославляю я истинные и великие добродетели вашей светлости, да и могу ли что-нибудь дурное помыслить о персоне вашей? Что я такое? Ничтожный червь перед величием вашим.

– Вишь ведь как красно научился говорить в Заиконоспасской академии, – шутиливо-ласковым голосом сказал князь. – Не хуже нашего Феофана. Ну а об Аграфене что слышал?

– Слышал я, что она при ее высочестве великой княжне Наталии Алексеевне хочет состоять гофмейстериней, – как будто спроста проговорил секретарь, подученный заранее противниками княгини Волконской сказать о ней князю при удобном случае неприятное ему слово.

Меншиков побагровел от гнева.

– Вот я устрою ее сам! Знаю я, что она исподтишка делает. Выпроводить ее отсюда следовало бы, да с нею заодно и многих ее приятелей. Баба она, правда, умная, да уж больно прытка: целым царством править бы хотела. Ну а Наталья Лопухина?

Меншиков ожидал ответа, вспоминая о том, как эта красавица сблизилась с Рейнгольдом Левенвольдом в то время, когда Левенвольд был в особой милости у государыни, старалась действовать через него на Екатерину, хотя и не прямо во вред ему, Меншикову, но нередко против его личного желания.

Спрошенный не знал, что отвечать на этот вопрос, и только как-то нерешительно мялся.

– Больно болтлива она. Всякие пустяки мелет. Вспомни меня, что ей когда-нибудь язык отрежут, – пророчески добавил Меншиков.

На этот раз расспросы князя прекратились. Он спешил ехать к государыне с докладом о герцоге. Но в голове его мелькали еще лица, которых он считал недружелюбно расположенными к себе; в числе их была царица Елизавета Петровна, а также и царицы «Ивановны», на которых, правда, никто не обращал никакого внимания, да и сверх того, одна из них, вдовствующая герцогиня Курляндская Анна Ивановна, жила в Митаве, но ее-то именно и хотелось Меншикову выжить поскорее оттуда, так как он сам намеревался сделаться герцогом Курляндским, а герцогиня, напротив, хотела подыскать себе такого жениха, который мог бы, женившись на ней, получить курляндскую корону. Такое столкновение и было причиной их взаимной неприязни, не обращавшейся, впрочем, в явную вражду. Подумал Меншиков и о княгине Марфе Петровне Долгоруковой, отец которой пострадал из-за него, но Меншиков не слишком опасался этой молодой женщины, так как пока семейство Долгоруковых находилось с ним в хороших отношениях, а сама княгиня не пользовалась еще таким личным влиянием, которое могло бы обратиться в оружие, вредное для временщика. Не нравились только ему близкие ее отношения с Волконской, но предположенная им расправа с этой последней должна была разрушить союз Долгоруковой с Волконской, если бы такой союз твердо установился между ними.

В это время к парадному подъезду подъехала большая и тяжелая карета с кузовом в виде плоского купола, над которым блистала огромная княжеская корона. Карета с зеркальными стеклами, обитая внутри темно-красным бархатом, блистала снаружи яркою позолотою, перемешанною с различными узорами и рисунками и с гербом князя Ижорского на дверцах. За каретою выстроились сидевшие на превосходных конях шесть вершников, по два в ряд, а около нее, по сторонам каретной дверцы, находились два гайдука в ожидании выхода князя, чтобы посадить его на отложенную в пять ступенек каретную подножку.

Положив в боковой карман своего кафтана написанный секретарем указ и накинув епанчу, Меншиков сел в карету. Прислуга знала уже заранее, что князь отправляется к государыне, так как вперед его никуда не был послан ездовой, обыкновенно скакавший во всю прыть для предварительного извещения той особы, которую удостоивал светлейший своим посещением и которая должна была заблаговременно приготовиться для встречи именитого гостя. Только к одной государыне князь не позволял себе отправлять такого посланца.

VII

Еще при жизни Петра Великого, лет за пять до приезда в Петербург графа Рабутина, сюда явился один из польских панов, по фамилии Грудзинский. Приехал он не в качестве какого-нибудь дипломатического агента и не в качестве искателя приключений, каких в Петербурге тогда являлось немало с предложением государю различных проектов или только своих личных услуг. Пан Грудзинский был человек весьма почтенный и состоятельный и имел весьма важное в тогдашней Польше звание старосты. Приехал он в Петербург только из дружбы к польскому магнату Яну Сапеге, известному и знатностью своего рода, и своим громадным богатством, – и притом приехал в качестве свата. В Польше, где внимательно следили за положением дел в России, знали и отчасти, быть может, преувеличивали то действительно большое значение, какое имел князь Меншиков при царе Петре Алексеевиче. Да и кроме того, Меншиков был лично знаком полякам, так как он начальствовал над бывшими там русскими войсками и даже одержал при Калише одну из главных побед над противниками польского короля Августа II, шведами. Польские магнаты в князе Меншикове, при усиливавшемся влиянии России на дела их отечества, могли видеть значительную поддержку для той партии, к которой принадлежал тот или другой, и из них Ян Сапега захотел воспользоваться такой поддержкой для усиления своей партии; быть может, ему в случае ее успехов грезилась даже королевская корона. Да и отчего бы не могло это случиться на самом деле? Если король шведский Карл XII нашел возможным посадить на польский престол Станислава Лещинского, менее знатного и менее родовитого пана, чем Ян Сапега, то почему не мог сделать то же самое, при известных обстоятельствах, и русский царь Петр в отношении преданного ему такого важного магната, каким был Ян Сапега?

Как бы то ни было, но староста Грудзинский приехал в Петербург в качестве свата с письмом от Яна Сапеги, в котором заключалась просьба о руке старшей дочери Меншикова, княжны Марии, для сына Яна Сапеги – Петра. Эта брачная чета была еще в ребяческом возрасте: жениху было тринадцать, а невесте еще менее. Но слишком ранние браки не были тогда редким явлением ни в Польше, ни в России. Очень часто и там, и здесь выдавали девушек замуж в то время, когда они забавлялись детскими играми. Сверх того, при сватовстве – в особенности между знатными семействами в Польше – дело шло не столько о самом браке, сколько о заблаговременной помолвке. Браком же можно было и повременить в случае крайней молодости жениха или невесты или их обоих, но семейства, просватавшие жениха и невесту, считались уже родственными и усердно поддерживали одно другое.

«Такое родство было бы, пожалуй, мне и кстати. Курляндия состоит под верховною властью Польши, и от польского сейма зависит избрание герцога, а между тем голос Сапеги и голоса его сторонников должны иметь на сейме большую силу», – рассуждал Меншиков, начавший еще при Петре Великом подумывать о том, чтобы сделаться герцогом Курляндским.

Независимо от этого вообще родство с Сапегами для такого выскочки, как Меншиков, должно было казаться честью; но по мере возвышения он не удовлетворялся уже такою брачною связью и рассчитывал посредством браков своих дочерей породниться с германскими владетельными князьями. Такой союз казался ему как-то важнее, чем союз с Сапегою, все-таки невладетельной фамилией. Кто знает, быть может, он уже и тогда рассчитывал на возможность брака своей дочери с великим князем Петром Алексеевичем.

Не желая, однако, упустить окончательно все-таки подходящего во многих отношениях жениха, каким был подрастающий Петр Сапега, Александр Данилович не послал отцу его решительного отказа. Со своей стороны, и пан староста стал действовать настойчивее

и, зная о могуществе Меншикова вследствие вступления на престол Екатерины, отправил в Петербург своего сына.

Не многие из мужчин могли рассчитывать на такие блестящие победы над женщинами, как этот юноша. С внешностью, которая поражала и красотой, и стройностью, он соединял ловкость и смелость, отличаясь в то же время и светскою обходительностью. Разумеется, петербургские дамы и девицы не замедлили плениться таким очаровательным молодым человеком, а в числе их была и княжна Марья Александровна. Полюбился молодой Сапега и Меншикову до такой степени, что он пригласил его на житье в свой дом. Екатерина Алексеевна оказалась также равнодушна к красавцу поляку и желала, чтоб он оставался в Петербурге. Устроить это было легко: стоило только женить Петра Сапегу на Меншиковой, а потому она, со своей стороны, принялась убеждать Меншикова согласиться на предложенный брак. При благосклонности ее к Петру Сапеге не был забыт и Меншиков, которому была предложена самая богатая в России невеста – княжна Варвара Алексеевна Черкасская, но сердце блестящего гофмаршала принадлежало уже другой – Наталии Федоровне Лопухиной.

12 марта 1726 года в великолепном доме Меншикова собралась вся тогдашняя петербургская знать. Залы этого дома наполнились гостями. В одной из них был поставлен богатый аналой с положенными на нем крестом и Евангелием, а на столе, покрытом алым бархатом, стояло золотое блюдо с обручальным кольцом. Среди находившихся здесь гостей выдавался особенно жених – красавец Петр Сапега высоким ростом, статностью и молодецкой осанкой. На нем был надет атласный, голубого цвета жупан, а поверх этого коренного польского одеяния был надет заимствованный поляками с востока кунтуш – другой кафтан из белого атласа, рукава которого по обычаю, соблюдавшемуся у поляков в торжественных случаях, были надеты на руки и заложены концами на плечи. Кунтуш был перетянут великолепным литым из серебра поясом, а на осыпанной драгоценными камнями рукоятке кривой, в позолоченных ножнах сабли лежала большая, с четырехугольной верхушкой из голубого бархата, шапка с собольим околышем и с пером цапли, прикрепленным богатым бриллиантовым аграфом, подаренным императрицею. Большой, с остроконечными концами ворот рубашки, разложенный по воротничку кунтуша, был зашпилен бриллиантовой запонкой, составлявшей по величине и по радужной игре камней самую главную драгоценность в сокровищнице Сапег, считавшихся одними из первых богачей тогдашней польской магнатории. На ногах у жениха были высокие сапоги красного цвета, так как большие паны и шляхтичи, следуя издавна установившейся моде, носили сапоги такого цвета, какого был щит их герба.

Среди пожилых гостей выдавался также и сановитый отец Петра Сапегы с длинными, опущенными книзу усами, высоким крутым лбом и с голубыми навывкате глазами. Коренной польский магнат, относившийся небрежно к своим собратам в Польше и презрительно обращавшийся с заурядными своими братьями-шляхтичами, был теперь, по-видимому, на вершине самодовольства, вступая в родство с таким проходимцем, каким был сам по себе светлейший князь Меншиков, герцог Ижорский. Но все прошлое давно было уже забыто, и Меншиков, достигший теперь вершины своего могущества, был окружен королевскою пышностью.

Рядом со своей матерью и младшею сестрой стояла невеста. Никто не мог бы назвать эту черноволосую, смуглую с продолговатым лицом и длинным носом девушку красивой, и только кроткий взгляд ее больших темных глаз и добрая улыбка в соединении с очень раннею молодостью придавали некоторую приятность ее лицу. Великолепный наряд невесты как бы служил к этому добавкой: на плечах ее, как княжны или принцессы Священной Римской империи, была накинута пунцовая бархатная мантия, подбитая горностаем и застегнутая у шеи огромным бриллиантовым аграфом; на голове была небольшая, блестящая разноцвет-

ными лучами корона, а корсаж, крепко стянутый на ее не сложившемся еще окончательно стане, отливал игрою драгоценных камней и жемчуга ослепительной белизны.

Впереди всех гостей, в расстоянии от них на несколько шагов, стоял отец невесты в расшитом золотом кафтане и в парике с длинными локонами. Он смотрел на дверь залы, ожидая, когда будет подан знак о приближении государыни, чтобы выйти к ней навстречу на парадную, богато украшенную лестницу.

Несмотря на свое могущество и на ту полную зависимость, в которой находилась от него императрица, он оказывал ей при посторонних людях не только подобающее ее высокому сану уважение, но и раболепное благоговение, понимая очень хорошо, что с величием бывшей мариенбургской пленницы соединено его собственное величие и властительское его обаяние.

По данному знаку он быстро вышел на лестницу, и вскоре на хорах обширной залы раздались звуки труб и гром литавр, возвестившие о прибытии государыни. В предшествии обер-гофмаршала Левенвольда, разряженного в кружева и ленты и считавшегося первым щеголем в тогдашнем Петербурге, и сопровождаемая следовавшим за нею на почтительном расстоянии князем-герцогом, вступила в залу Екатерина, встреченная почтительными поклонами всех присутствовавших. Пройдя через ряд заранее еще расступившихся гостей, она милостиво дала поцеловать свою руку жениху и невесте и как бы ободрила их своим благосклонным взглядом. Императрица взошла на приготовленное для нее под бархатным балдахинном у одной из стен залы возвышенное место и села на приготовленное там для нее кресло.

Обыкновенно привыкли воображать Екатерину, «чернобровую жену» Петра, красавицей, подходившей по росту к «чудотворцу-исполину», и даже портреты ее стараются засвидетельствовать об этом. Но во время своего царствования она не отличалась ни красотой, ни станом. Екатерина была тогда женщиною уже пожилых лет, и, разумеется, к этой поре должна была поблекнуть та свежесть молодости, которая прельщала когда-то и сподвижников царя, и, наконец, как надобно полагать, – прельстила его самого в простой литовской девушке Марте. Но и при этом условии в ней могла сохраниться та величавость, какую должна была бы отличаться царица. На деле, однако, и этого не было. Екатерина была приземистая и толстая женщина без всякой осанки. Ее низкий рост и неуклюжесть стана чрезвычайно поразили увидевшую ее в первый раз маркграфиню Байретскую, которая и сохранила в своих любопытных «Записках» подробное описание наружности Екатерины, не отличавшейся ни выражением лица, ни изящными чертами.

Императрица приехала на обручение княжны в сопровождении придворных, среди которых по своей красоте особенно выдавалась ее недавно назначенная статс-дама Наталья Федоровна Лопухина. Она отличалась и простотою наряда. На ней не было ни жемчуга, ни драгоценных камней. Сама она, как девушка из небогатой немецкой семьи Балков, не получила богатого приданого, а после разгрома, нанесенного Петром Великим семейству Лопухиных и его родственникам, муж Наталии не был настолько богат, чтобы доставить жене те дорогие украшения, которые обыкновенно в прежнюю пору собирались в боярских семействах в нескольких поколениях, переходя от одного из них к другому, которые так любили выставлять напоказ русские барыни прошлого столетия.

Тотчас после того, как государыня заняла свое место, начался обряд обручения, после которого один из ближайших друзей князя, архиепископ Новгородский Феофан Прокопович, произнес «предикку», сверх пожеланий всякого благополучия обрученной чете слышались похвалы – и, разумеется, крайне напыщенные – как князю Меншикову, так и роднившейся с ним фамилии Сапег.

Императрица выразила свою благосклонность жениху и его отцу, и так как им было не нужно никаких подарков, то им назначены были почетные награды. Старик Сапега был

прямо пожалован в русские генерал-фельдмаршалы, а сын его – в действительные камергеры.

Обручение закончилось пышным пиром в доме Меншикова: там происходили танцы, подавали изобильный и роскошный ужин с дорогими винами и, наконец, была неизбежная в ту пору для мужчин попойка, в которой особенно деятельное участие принимали «знатные мужеского пола персоны».

VIII

Если собравшаяся в доме Меншикова петербургская знать обращала особенное внимание на Наталью Лопухину, бывшую тогда в полном расцвете своей красоты, то многие, хотя и сдерживаемые особою почтительностью, пристально засматривались на стоявшую около кресел императрицы молодую девушку. Девушка эта, цесаревна Елизавета, лет семнадцати, довольно высокая, чрезвычайно стройная, с распущенными по плечам русыми локонами и голубыми глазами, казалась сказочной красавицей – такой красавицей, какую исстари создало воображение русского человека. Она, по-видимому, совершенно равнодушно смотрела на то, что происходило в зале, но на деле очень зорко следила за Лопухиной, о красоте которой тогда так много говорили. Какое-то тайное недружелюбие, как будто зависть и даже ревность почувствовала она к этой молодой женщине, которая хотя была и старше ее годов на семь, но, как было заметно, очаровывала всех не только своею наружностью, но и своею бойкою любезностью. Елизавете казалось, что она должна была бы уступить Лопухиной, если бы когда-нибудь в жизни им пришлось встретиться как соперницам. Елизавета в эту минуту не соображала, что те любезности, которые могли оказывать мужчины Лопухиной, они не могли оказывать ей как цесаревне. В особенности неприятно казалось ей, что на Лопухину засматривался Александр Петрович Бутурлин, один из самых блестящих придворных красавцев того времени. К нему сама Елизавета чувствовала уже затаенное сердечное влечение – чувствовала ту первую любовь, которая так сильно и безотчетно начинает тревожить сердце девушки и порождает вражду к той, кто кажется ей соперницей.

Пересуды и сплетни господствовали тогда сильно в небольшом еще петербургском высшем обществе, где все были на перечеке и, так сказать, на глазах друг у друга. Привычка московских «кумушек» оговаривать с особенным удовольствием молодых женщин перешла и в Петербург, получив здесь еще более применения, так как при начавшихся выездах женщин в общество представлялось теперь более случаев и более поводов говорить и были и небылицы. В особенности задавала большую работу злым языкам Наталья Федоровна Лопухина. Она была не только молодая и хорошенькая женщина, но и жила не в ладах и даже врозь со своим мужем, который дал ей полную волю проводить время, как она хочет, и даже до такой степени был в этом случае равнодушен, что, как пишет леди Рондо, «когда его поздравляли с новорожденным сыном и спрашивали о здоровье его жены, то он беззастенчиво предлагал поздравляющим и спрашивающим относиться к Левенвольду».

Семейство, к которому принадлежала по своему рождению Лопухина, и по мечу, и по прялке, было известно происходящими в нем соблазнами: и Матрена Ивановна Балк, мать Лопухиной, и брат ее, придворный кавалер Вильям Монс, еще весьма недавно заставили так много говорить об их любовных похождениях. Примешивались к тому и другие еще обстоятельства: семейство Лопухиных, родственное семейству царскому, было при Петре Великом в опале и в загоне, а теперь фамилия эта если и не начала возвышаться снова, то уже вошла в милость при дворе, именно на первый раз в лице хорошенькой Натальи Федоровны, конечно, в память Вильяма Монса, погибшего на плахе из-за Екатерины.

Со своей стороны, Елизавета не могла относиться сочувственно к Лопухиным, так как Евдокия Федоровна Лопухина была по своим правам соперницей ее матери, Екатерины, или прежней Марты.

Пир, который после обручения шел в доме князя Меншикова, мог с первого взгляда показаться одним из тех блестящих балов, которые давались в богатых и знатных домах тогдашней Западной Европы, а по своей великолепной обстановке не только не уступал торжественным собраниям бывших владетельных особ во Франции, Италии и Германии, но, пожалуй, и превосходил их. Здесь было то же самое роскошное убранство комнат, залитых

светом восковых свечей, горевших в бронзовых канделябрах, в спускавшихся с потолков хрустальных люстрах и отражавшихся бесчисленными огнями в громадных венецианских зеркалах, а также на позолоте стен, плафонов и мебели. Здесь была та же роскошь драпировок из шелковых тканей и бархата на окнах и на дверях. Вообще же вся обстановка новопожалованного князя была совсем уже не та, что в прежних боярских хоромах с их дубовыми столами и скамьями, затканными камкой или персидскими коврами, без тех дополнительных роскошных украшений, которые становились теперь обычною принадлежностью в жилищах русской знати, поселившейся в Петербурге.

На столах, приготовленных для ужина, были расставлены груды деревянной посуды, а на особом столе, накрытом на возвышении под балдахином, были поставлены только четыре прибора. Стол этот, предназначенный для императрицы, двух ее дочерей и зятя ее, герцога Голштинского, был загроможден золотою посудой, в числе которой были и приобретенные за границей древние драгоценные кубки венецианской и флорентийской работы. Около столов суетилась многочисленная прислуга, одетая в ливрею князя Ижорского.

В громадной зале, где происходили танцы, играли музыканты-иноземцы. Оркестр князя Меншикова по нынешнему времени показался бы не только слабым, но и жалким. Но в ту пору он был вполне удовлетворителен и не оставлял желать ничего лучшего, так как тогда даже в тех странах, где музыкальное искусство достигло высшего развития, не только балльные, но и оперные оркестры были весьма немногочисленны по их составу и по разнообразию инструментов. Самое большое число музыкантов, составлявших оркестр, не превышало десяти – двенадцати человек, причем валторны и литавры были главными инструментами.

По существовавшему тогда придворному этикету представители иностранных держав отдавали сидевшей в танцевальной зале на возвышении императрице «глубочайший респект». Стоявший около возвышения гофмаршал называл являвшихся к государыне дипломатов по их званиям и фамилиям, а они с низкими поклонами, прижимая к сердцу свои треуголки, вычурною поступью приближались к государыне, и когда она протягивала им руку, то они, всходя на ступени возвышения, почтительно целовали ее. После этого представления начались танцы.

Вследствие частых побывок Петра и близких к нему лиц в Польше при русском дворе при водворении танцев был введен и польский как танец не только торжественный, но и подходящий для каждого и для каждой, несмотря на самый почтенный возраст, а вместе с тем и как вполне доступный по своей простоте и не требовавший предварительного обучения. В первой паре пошла императрица с светлейшим хозяином; за ними шли герцогиня Голштинская с молодым Меншиковым, а далее герцог Голштинский с невестою и цесаревна Елизавета с графом Рабутином. После нескольких кругов польского начались другие танцы, которым как русских кавалеров, так и русских дам и девиц научили не только в Петербурге, но и в самых отдаленных уголках России, даже в Сибири, пленные шведы, большие любители таких увеселений.

Теперь в нарядах, введенных Петром Великим, недавние русские боярыни и боярышни казались уже французскими герцогинями и маркизами. Не было уже видно здесь ни московских фрязей, ни прабабушкиных головных уборов, которые заменялись парикмахерскими куафюрами, искусственными цветами и париками и подвешенными локонами с примесью различных бриллиантовых украшений. Шелковые ткани, бархат, ленты и кружева составляли теперь существенную принадлежность дамского наряда, но зато самая главная принадлежность нынешнего бального туалета – перчатки – не были еще в употреблении; дамы и девицы тогдашней поры являлись на вечера с голыми ручками или руками. Только Елизавета Петровна, сделавшаяся со времени своего вступления на престол первою щеголихою в своей и тогда еще обширной державе, стала носить на балах перчатки. Но с этою принадлежностью наряда было немало хлопот. Закупать для Елизаветы перчатки, или – как их тогда назы-

вали и русские дамы, и сама императрица – «рукавицы», поручаемо было русским дипломатическим агентам, находившимся в Париже, и много повозились там с такими закупками сперва русский посланник, известный князь Антиох Кантемир, а потом и поверенный в делах Бахтеев. Они запаздывали нередко их присылкою, за что, как видно из дел Иностранной коллегии, не только получали замечания, но и выговоры. Присылка от «дофинши» русской императрице дюжины перчаток считалась тогда истинно королевским подарком. Да и позднее даже римско-немецкая императрица Мария-Терезия очень часто обходилась в Вене без перчаток в таких торжественных случаях, где ей приходилось выставлять напоказ свое королевско-императорское величие.

Если, однако, ближе бы присмотреться к гостям и гостьям, бывшим на пиру у герцога Ижорского, то оказалось бы, что приемы их взаимного обращения и вся общественная складка слишком разнились от того, что представлялось в этом отношении на Западе, давно уже привыкшем к собраниям такого рода. Дамские самые богатые наряды не отличались ни вкусом, ни изяществом, так как грубая роскошь проявлялась в них наряду только с попыткою одеться на западноевропейский лад. Слишком много было здесь и неуклюжего, и не соответствовавшего одно другому. Об обаятельности, а тем более об утонченности обращения не могло быть и речи. Не привыкшие еще к общественной жизни петербургские дамы жались в кучку одна к другой; кавалеры, в свою очередь, не знали, куда стать и как держать руки, а поучившиеся светскости у иностранцев выдавали свой еще плохой в этом случае навык натянутостью и искусственностью. Только весьма немногие из русских дам, как, например, Волконская, Долгорукова и Лопухина, с детства освоившиеся с кружком образованных иностранцев, отличались от своих соотечественниц тою развязностью, находчивостью и любезностью, какие усвоили себе представительницы их пола в других европейских странах.

Среди собравшихся у Меншикова гостей, преимущественно «знатных персон», были еще и такие лица, которые, не занимая особенно высокого служебного положения, пользовались посредством разных путей, или – как тогда стали выражаться – посредством «каналов», большим или меньшим влиянием на дела всякого рода, а между прочим отчасти и на дела государственные. Здесь можно было увидеть, например, Маврина, состоявшего при великом князе Петре Алексеевиче и начавшего иметь на своего питомца такое влияние, которое стало озабочивать слишком ревнивого к своей власти Меншикова. Ходил по залам Меншикова и ловкий, занимавшийся темными делами, прежний денщик Петра I, а ныне член Военной коллегии Егор Пашков. По внешности своей особенно выдавался среди гостей одетый в богатый французский костюм арап Петра Великого, Абрам Петрович Ганнибал.

Внимательный наблюдатель мог бы подметить, что все собравшиеся в доме Меншикова дамы и мужчины составляли как бы свои особые тесные кружки; представители и представительницы этих кружков, сходясь между собою, осматривались кругом и менялись один с другим короткими замечаниями, перешептывались и прекращали разговор, когда приближался к ним кто-нибудь не из их стана. Трудно было догадаться, о ком или о чем велась беседа, но бросаемый по временам арапом взгляд, с выдающимися на его черном лице белками, и оскаливаемые им белые зубы могли наводить на мысль, что в той среде, где он находился, он встречал немало своих врагов. Пашков своими рысьими глазами зорко следил за некоторыми из гостей; целью его наблюдений было подметить, к кому из гостей с особенной благосклонностью обращался хозяин-временщик. Надобно, однако, полагать, что такое наблюдение не могло сопровождаться особенным успехом. Горделиво прохаживался Меншиков по отъезде императрицы по своим чертогам. Его плотно стиснутые тонкие губы и нахмуренный лоб как бы свидетельствовали, что он был занят не происходившим у него веселым пиршеством, но думал о чем-нибудь другом, а бросаемые им на гостей суровые взгляды выражали надменность и в то же время наблюдательность. Пристально взглянул он на стоявшего почтительно на его пути арапа и грозно с головы до ног окинул глазами Егора

Пашкова. Такие взгляды светлейшего были не очень приятны тем, на кого они направлялись, а Пашков, опустив голову, заметно смешался. Ему казалось, что Меншиков заглянул ему в душу.

IX

На другой день после торжественного обручения новый генерал-фельдмаршал Ян Сапега продолжительное время беседовал со своим будущим сватом, которому он передавал только что полученные им из Польши сведения. Меншиков то хмурил брови, то весело взглядывал на своего собеседника, так как сообщаемые Сапегою известия были очень разнообразны, и они то отнимали у князя, то придавали ему надежду на успех в его честолюбивых замыслах.

– Король Август больше ничего, как большой руки плут, – говорил, волнуясь, Сапега, – и недаром я два раза пытался составить против него конфедерацию, чтобы прогнать из Польши. Да, а теперь он хочет навести вред Речи Посполитой. Он слишком хитрит, делая вид, будто не хочет, чтобы сын его сделался герцогом Курляндским, а между тем, как я узнал достоверно, тайком помогает ему. Скажу тебе, князь, что если я и стараюсь содействовать тебе в твоих замыслах на Курляндию, то делаю это только по дружбе к тебе и по будущему родству с тобою, а собственно мне и моей партии было бы удобнее, если бы Август пристроил своего сына в Курляндии. Тогда бы в самой Польше поднялось против него страшное неудовольствие. Все поляки закричали бы в один голос, что он, как немец, мирволит курляндским немцам и из-за них, а также из-за своего сына забыл принятую им на себя обязанность защищать права и выгоды Речи Посполитой.

– Спасибо тебе, пан Ян, за твою дружбу, – сказал по-польски Меншиков, научившийся говорить на этом языке при своих частых побывках среди поляков. – Если мне будет хорошо, то, поверь, и тебе будет не худо; мы теперь уже свои люди, будем помогать друг другу.

– Знаю, знаю, коханный, – перебил Сапега, – мы будем действовать сообща, как добрые приятели.

– Я, сделавшись герцогом Курляндским, помогу, пожалуй, тебе сесть на польский престол. Ведь у меня будет тогда в Польше сильная партия, а именно та, которая доставит мне Курляндский престол. Составляй же ее поусерднее, не ленись.

– Что мудреного! – не без заносчивости заметил Сапега. – Я нисколько не хуже, даже гораздо родовитее Собеских и Лещинских, а ведь и они попали в короли. Да притом, мой коханный пан Александр, если ты, не немец и не лютеранин, сможешь быть герцогом Курляндским, то отчего же мне, Сапеге, поляку и католику, не быть королем польским? Ведь у нас, как ты сам знаешь, каждый шляхтич – Пяст, то есть такое лицо, которое может по праву рождения получить королевскую корону. Нужен только случай – и ничего больше.

– Но ведь и я, по пожалованным мне в Польше имениям и по полученному мною от сейма индигенату, также польский шляхтич. Следовательно, и я мог бы сделаться королем польским. Только разве по вере моей я не могу быть им.

– Ну уж, приятель, оставь королевство на мою долю, – полушутя сказал Сапега, – а сам прежде всего сделайся герцогом Курляндским; это гораздо легче, да и при всем шляхетском равенстве в Польше все-таки владетельный герцог и польский сенатор, если ты им сделаешься, скорее может попасть в короли, чем простой шляхтич, каким ты у нас числишься.

Хотя разговор этот и имел отчасти шуточный оттенок, но тем не менее слишком широкие честолюбивые помыслы быстро возникли в голове Меншикова, который должен был верить в предопределенное ему на роду счастье, дойдя из ничтожества до такой высоты, на которой он теперь находился.

– Нужно, брат, чтоб за твое дело в Польше взялись не одни паны, но и панны; они ловко все сумеют обделать, – сказал Сапега.

– Знаю я их. Ох, какие бойкие! – перебил Меншиков.

– Вот хоть бы и теперь. Положим, что Мориц – сын короля, хотя и с левой руки, и сам король, как я сказал, тайком помогает ему, а не возмись за него маршалкова Белинская да гетманша Потехина – ничего бы не было. Они ему и сильную партию составили, и денег добыли. У нас женщины работают куда как ловко. В любовницы к старикам бескорыстно идут для того только, чтоб влияние на политические дела иметь. Вот хотя бы из-за чего панна Понятовская с вашим Репниным так близко сошлась? Влюбиться она в него не могла. Денег, разумеется, ей от него не нужно, а через него она делает много такого для Польши, чего Репнин ни для кого другого никогда бы не сделал. Вкрадутся они в душу, уговорят, и сам не почувствуешь, как поддаешься красоте, – проговорил Сапега, покручивая свой ус.

– У нас теперь то же самое заводится, да только бабы наши еще не изловчились: не умеют еще прельщать так мужчин, как прельщают ваши; не больно они умелы на этот счет, а уж начинают соваться всюду. Вот хоть бы Аграфена Волконская. Мне хорошо известно, что она с Рабутином ведет дела вкупе, да и как хитрит: хлопочет только о великом князе Петре Алексеевиче, а мне подпускает в ухо, что устраивает это дело для меня... Так я этому и поверю!

Меншиков как будто спохватился и несколько призамялся. Он сообразил, что Рабутин старается о браке великого князя с дочерью Меншикова, так что обрученный Петр Сапега останется, пожалуй, и без невесты. На Меншикова, думавшего теперь не только о герцогской, но и о королевской короне, нашло какое-то мимолетное затмение, часто испытываемое людьми, занятыми какою-нибудь преобладающею мыслью, но говорящими о другом.

– А что ж, иметь такую сторонницу не худо, – заметил Сапега, – промаху она не даст, а Рабутин, сам ты знаешь, теперь едва ли не самый близкий человек к государыне, постоянный ее советник.

– Много, ясновельможный пан, наберется у нас всяких советников, – с негодованием перебил Меншиков. – Вот хоть бы герцог Голштинский: забрался в Верховный тайный совет против моей воли и теперь всем вертеть хочет. Да что герцог: даже и граф Бассевич, его министр, который – сказать кстати – совсем здесь не нужен, тоже в наши дела суется. Вздумал посылать в Верховный совет свои мнения, да еще как хитро справляет их, пошлет да и повторит при этом слова царя Петра Алексеевича, что «мнение-де не в указ», так, мол, господа министры Верховного совета, не обижайтесь, что учу я вас делать по-своему, а не по-вашему.

– Зачем же ты им волю даешь? Разве у тебя мало силы?

– Справиться, сват, с герцогом трудно; за него цесаревна Анна; сам-то он по себе ничего не значит, но дочь свою царица любит без памяти, а к Анне пристаёт всегда на сторону и Елизавета. Выпроводить бы их всех отсюда. Да я так и сделаю, – решительным голосом добавил князь.

– Попытался бы ты подействовать на императрицу чрез моего сынка, – не без оттенка покровительства сказал Сапега. – Что нам таиться друг от друга! Есть у вас, русских, да и у нас славная поговорка: «Рука руку моет».

Меншикову неприятно было предложение ему покровительства у императрицы со стороны такого молокососа, каким был Петр Сапега, но в душе он не мог не сознаться, что рассчитывал на это, так как молодой Сапега находился при дворе в таком же положении, в каком был Вильям Монс.

Давнее знакомство Меншикова с Сапегою, начавшееся еще в Польше, кутежи этого пана в веселой компании Петра и не раз доказанная преданность Сапеги царю, назначение Сапеги русским фельдмаршалом и главное – будущее близкое родство Меншикова с ним установило между ними полную откровенность, и могущественный временщик не счел удобным вступать в пререкания с тщеславным паном.

– Да разве одна Волконская принялась за работу по делам государственным, – заговорил он, как будто не обращая внимания на слова Сапеги. – Бабье царство у нас началось, – добавил он, засмеявшись, – так теперь каждая бабенка от важных дел отстать не хочет. Рабутин в шутку наемни говорил, что он учит их плести при дворе кружева нового, небывалого еще у нас узора; они и плетут. Кто теперь из баб не суется в вопрос о престолонаследии: и та, и другая, и третья... И каждая хочет решить по-своему, да так, чтобы меня от дел отставить. Вот хоть бы эта жидовочка Долгорукова завела теперь шашни с Рабутином; я к великому князю Григория Долгорукова приставил, так она и через него и у Петруши-то действовать принялась. За своего отца мстить мне хочет. Наталья Лопухина тоже у царицы за своего молодца Левенвольда хлопочет, да, спасибо тебе, сынок твой оттер его, а теперь Левенвольд в прежнюю милость уже не попадет.

Сапега самодовольно улыбнулся мысли о том успехе, какой имел при дворе Екатерины его красавец сын.

– Вот сумел же угодить Иван царице. Привез бы ты к нам из Польши десяток молодых, хорошеньких бабенок да паненок. Какого бы они у нас переполоху наделали! Многими бы вертеть стали, чего доброго и до старика Остермана добрались бы. Так или иначе, а сумели бы и его к своим рукам прибрать. А кстати, как поедешь к себе в Польшу, так не забудь забрать с собою побольше тех китайских материй и тех сибирских мехов, которые я приказал отпустить тебе, и там раздари тем, кому будет нужно. Ваше бабье до этих вещей большие охотницы, а наши – те больше чистоганом получать любят. Немало роздал им денег бывший австрийский резидент Плейер за то, что около царицы да у своих мужей его дела успешно налаживали. Да и Долгоруковой Рабутин отсчитал порядком; ведь я все знаю, трудно что-нибудь тайком от меня сделать.

Затем разговор между двумя близкими приятелями перешел снова к самой существенной стороне дела. Сапега стал высчитывать тех своих собратьев-магнатов, которые, как он полагал, поддавшись его внушениям, станут действовать в пользу Меншикова для доставления ему курляндско-герцогской короны. Упомянул также он и о тех знатных польках, которых можно было, по его мнению, привлечь на сторону Меншикова.

Беседа заключилась семейным ужином, после которого Меншиков простился с женою и детьми, сказав им, что он, по повелению государыни, уезжает в ночь на курляндскую границу для осмотра расположенных там русских войск, на случай предполагавшейся в то время высадки датчан и англичан, недовольных тем покровительством, какое оказывала Россия герцогу Голштинскому, врагу короля датского. Такая молва была распушена и при дворе, и по всему городу, так как Меншиков старался сохранить в тайне цель своей поездки. Перед рассветом от княжеского дома тронулся длинный поезд, и наутро в Петербурге узнали, что светлейший изволил отъехать к курляндской границе. В городе как будто все вздохнули свободнее и повеселели. Добрых напутствий вслед уехавшему князю ни от кого не слышалось. В тот же день отправился в Польшу генерал-фельдмаршал Сапега, оставив своего сына Петра в доме Меншикова.

На цель отъезда из Петербурга этих лиц люди, ничего не ведавшие в политике и не занимавшиеся ею, не обратили никакого внимания, но недруги Меншикова проникли действительную причину поездки обоих приятелей и громко заговорили о намерениях светлейшего быть владетелем Курляндии, высчитывая те неудобства, какие произойдут от этого для России вследствие разрыва с Польшею, благодаря только честолюбивым исканиям князя. Они собирались и у Волконской, и Долгоруковой и обдумывали те способы, которыми можно было бы не только восстановить императрицу против Меншикова, но даже и подготовить его полное падение. Казалось, что работа недругов Меншикова в этом направлении шла успешно, чему главным образом помогал герцог Голштинский, усердно поддерживаемый Анной Петровной и ее младшею сестрою. Екатерина начала уже колебаться в своем

доверии к прежнему своему покровителю, и дело дошло до того, что было сделано распоряжение о взятии под стражу грозного временщика немедленно по возвращении его из Курляндии в столицу.

Х

Глухою осенью 1694 года в длинном и темном коридоре старинного замка курфюрстов Ганноверских послышался отчаянный крик; но крик этот тотчас же смолкнул, и те обитатели замка, которых он встревожил среди глубокого сна, не обратили на это особенного внимания, подумав, что крик только почудился им. На другой день на довольно значительном расстоянии от замка, стоявшего среди большого парка, и не застроенных еще в то время пустырей города Ганновера был найден труп чрезвычайно красивого молодого человека. Труп был окровавлен, и на нем было несколько ран, нанесенных острым оружием в спину и в грудь. Раны на спине показывали, что первые удары были нанесены сзади убийцею, вероятно поджидавшим в засаде свою жертву. Преступник открыт не был, и молва говорила, что даже и следствие по этому делу прекращено было по тайному повелению тогдашнего курфюрста Георга, бывшего потом королем английским. Такое покровительство убийце со стороны государя объясняли тем, что он сам был участником этого злодеяния. Убитым оказался живший в Ганновере шведский граф Кенигсмарк, успевший сделаться счастливым соперником Георга у его супруги. Не желая делать огласки о нарушении ею верности, курфюрст захотел собственноручно казнить дерзкого волокиту и рассчитаться с ним без свидетелей, что он и сделал, приказав потом преданным ему людям вынести труп графа на прилегавшие к замку пустыри и не разглашать никому о случившемся для избежания всяких толков об этом загадочном происшествии.

Убитый граф Кенигсмарк был человек богатый. Все свои драгоценности, состоявшие преимущественно в бриллиантах, а также и значительные капиталы он отдал на хранение пользовавшемуся в ту пору громкой известностью банкирскому дому Ласторпа в Гамбурге. Когда пришла в Швецию весть о гибели Кенигсмарка, то сестры его, бывшие замужем за знатными в Швеции людьми – одна за Левенгауптом, а другая за Штейнбоком, – пожелали возвратить себе оставшееся после него наследство, а третья сестра их, Аврора, бывшая еще в девицах, кроме того, дала себе обет отыскать убийцу брата и отомстить ему, и с этою целью она отправилась в Ганновер; но там все ее поиски были безуспешны. Тогда Аврора отказалась быть мстительницею за кровь своего брата, а сестры ее поручили ей похлопотать о наследстве, оставшемся на руках гамбургского банкира. Господин этот оказался человеком не очень добросовестным. Хотя он и возвратил доверенные ему покойным Кенигсмарком драгоценности его сестрам, но от отдачи им денег уклонялся под разными предлогами. Сама Аврора справиться с ним не могла, и ее кто-то надоумил приискать себе могущественного покровителя и, как подходящую к такому званию особу, указал на курфюрста Саксонского Августа.

Молодая графиня не могла бы нигде отыскать лучшего для себя протектора. Август был один из наиболее сильных владетелей тогдашней разьединенной Германии и вдобавок к тому страстный обожатель женского пола. Стоило только такой прелестной просительнице, какою была Аврора, и притом сироте, обижаемой на чужбине, предстать пред светлейшим курфюрстом, чтобы он явился не только в качестве ее защитника, но и страстно влюбленного рыцаря. Не мог также не полюбиться и Авроре такой молодой красавец, каким был курфюрст, величавый, пышный, щедрый и вдобавок крайне смелый в обращении с женщинами. Первая таинственная их встреча, при которой молодые сердца слились во взаимной страсти, произошла в Морицбурге. Там дали они слово любить друг друга до гробовой доски, а через девять месяцев это стало плотью в лице новорожденного младенца, которого, в память первого таинственного свидания его родителей в замке Морицбурге, и нарекли Морицом.

О процессе с гамбургским банкиром, разумеется, теперь было забыто. Августу не хотелось примешивать свое громкое имя к каким-то, относительно его личности, пустячным

денежным счетам. Он владел несметными богатствами, нажитыми – как гласило предание – главным образом одним из его предков, алхимиком, выделявавшим чистое золото из меди, или, по иному преданию, благоприобретенными другим его предком, ограбившим Прагу и захватившим там сокровища императорского Габсбургского дома. При этих условиях и при щедрости Августа, не знавшего никаких пределов, когда дело касалось прельстившей его красавицы, Авроре не стоило уже домогаться наследства, оставшегося после брата. Вскоре после рождения Морица его родитель, курфюрст Саксонский, возвеличился еще более, так как он, по избрании, получил королевско-польскую корону, которую носил уже его отец и которая наделала ему немало хлопот, так как Карл XII выставил ему в Польше противника в лице новоизбранного по его воле короля Станислава Лещинского.

Сделавшись королем польским, Август признал Морица своим сыном, хотя и незаконным. Он дал ему титул графа Саксонского, и несмотря на то, что впоследствии покинул Аврору, как покидал и других своих многочисленных любовниц, он продолжал оказывать Морицу родительскую любовь и женил его на самой богатой невесте, родом саксонке. Мориц вступил в военную службу, и жизнеописатели его рассказывают о явленных им на ратном поле чудесах храбрости и геройства. Относительно же мирных походов на представительниц женского пола Мориц весь выдался в своего родителя; он – как и его отец – чрезвычайно нравился женщинам и умел легко побеждать их. Но любовные похождения графа Саксонского не приходились, конечно, по сердцу его супруге, и она развелась с ним, после чего вышла вторично замуж за одного почтенного человека и с новым своим супругом провела жизнь счастливо и спокойно.

– Я, вселюбезнейший и досточтимый родитель, собираюсь на днях ехать в Митаву, – сказал в один прекрасный день Мориц своему родителю; но этот последний, вместо того чтобы дать ему на дорогу родительское благословение, навеки нерушимое, сумрачно взглянул на него.

– Ты мне этой поездкой наделаешь таких хлопот, о которых ты, по твоему легкомыслию, прежде не подумал, – сказал король-курфюрст. – Ты знаешь поляков: они начнут кричать, что я лишаю сейм возможности избирать герцога Курляндского, что я силою навязываю Курляндии государем близкого мне человека, что я пренебрегаю правами Речи Посполитой на подвластное ей государство, и тогда я не оберусь всевозможных неприятностей и тревог. Ян Сапега изо всех сил работает против меня. Уж я и так непрочно сижу на королевском престоле, а ты, чего доброго, и совсем сбросишь меня с него.

– Но курляндцы согласились уже избрать меня своим герцогом, я сейчас получил об этом известие от графа Флезена, а вдовствующая герцогиня Анна, как мне сообщили, не прочь вступить со мною в брак; значит, мне и со стороны России будет оказана поддержка.

Хотя король-курфюрст внутренне и порадовался таким успехам своего возлюбленного сына, но политические соображения не только не позволили ему выказать этой радости, но даже, напротив, он попытался выразить Морицу свое отеческо-королевское неудовольствие.

– Еще бы ей не хотелось выйти замуж за такого молодца, как ты, – сказал Август, взглянув с самодовольством на сына, почти капля в каплю похожего на него. – Да ты-то согласишься ли жениться на ней? Я видел ее несколько раз, – и король, сделав неприятную гримасу, почесал затылок, как бы тяготясь воспоминаниями об этих встречах. – Разве такую женщиной должна быть герцогиня Курляндская? – начал, облизываясь, рассуждать Август, понаторелый знаток женской красоты. – Прежде всего в ней должна проявляться нежность. Стан ее должен был строен и гибок, ручка и ножка маленькие, шейка такая, чтобы ее можно целовать с неизъяснимым удовольствием. Затем необходимо...

Но объяснения самых существенных условий женской прелести были прерваны легким скрипом приотворенной в кабинете двери. Король обернулся, и в дверях кабинета пока-

зался длинный нос его первого саксонского министра и задушевного любимца, графа Флемминга.

– Войдите, мой друг, сюда, – крикнул Август, – я даже хотел было потревожить вас моим приглашением пожаловать ко мне. Но вы сами пришли как нельзя более кстати...

– Чем могу я служить вашему величеству? – отозвался министр, почтительно поклонившись королю-курфюрсту.

– Можете мне служить вашим добрым советом. Не найдете ли вы способов уговорить этого ветрогона отказаться от поездки в Митаву, да еще затем, чтобы посвататься к тамошней прелестной герцогине? Ха, ха, ха!.. Вот нашел невесту!

По лицу Флемминга при насмешке над герцогиней пробежала легкая тень неудовольствия, и хотя причина этого не могла быть еще известна Августу, но она была вполне понятна сама по себе. Флемминг недавно развелся с супругой Изабеллой, рожденной княжной Чарторыжской, и теперь подумывал, как бы посвататься к вдовствующей Анне Ивановне и вследствие брака с нею получить в Курляндии герцогскую корону.

– Тут, августейший мой родитель, – перебил Мориц, – дело не в невесте, а в герцогстве. Пристройте меня так, чтоб я был поставлен соответственно моему высокому рождению, и я не стану думать о Курляндии; теперь же я ровно ничего не значу, хотя во мне и течет ваша королевская кровь.

– Да куда ж я тебя пристрою? – разводя руками, спросил Август. – Притом если я начну пристраивать всех тех, в ком течет моя королевская кровь, – засмеялся Август, – то, пожалуй, для них и во всей Европе не достанет места. Говорю это тебе прямо потому, что и ты в этом отношении идешь по моим следам и сам впоследствии увидишь, как затруднительны бывают родительские обязанности, хотя сердце и подсказывает их ежечасно.

И с этими словами он одной рукой обнял Морица и нежно поцеловал его.

Мориц, вместо того чтобы обидеться таким откровенным замечанием отца, расхохотался.

– Сын должен всегда подражать отцу, и если вы, ваше величество, добыли для себя королевскую корону, то позвольте мне добыть хоть герцогскую.

Флемминг начал говорить, поддерживая мнение короля, и принялся высокопарным слогом, с латинскими, по тогдашнему обычаю, поговорками излагать свои соображения относительно неудобств при вмешательстве короля-курфюрста в дело о доставлении курляндского престола Морицу, который и со своей стороны не мог не согласиться со справедливостью доводов, выставленных рассудительным министром, имевшим при этом в виду и свои затаенные цели. Но в конце концов ловкий министр пришел к тому заключению, что его величество не только не должен давать своего согласия на замыслы Морица или как-либо въявь одобрить их, но, напротив, должен публично порицать образ действий Морица в Курляндии, а между тем если его величество пожелает, то тайком может пособлять Морицу для достижения им желанной цели.

Август согласился с этим мнением. В ту пору двуличность считалась одним из основных и притом нисколько не бесчестных способов действий по политическим вопросам. Август разрешил Морицу отправиться в Курляндию на собственный его, Морица, страх, предупредив его, что он, Август, как король польский, может с течением обстоятельств оказаться в таком неприятном положении, что даже будет поставлен в необходимость отправить в Курляндию польское войско, чтобы захватить Морица, как бунтовщика против Речи Посполитой, и чтобы, ввиду такого прискорбного исхода его замыслов, он, Мориц, уж не пенял на своего родителя, даже и в том случае, если сейм определит запрятать искателя короны в какую-нибудь крепость, хотя бы и на пожизненное заточение.

Граф Саксонский махнул рукой, как говорится, на все увещания родителя и на все внушения осторожного министра. Польские панны и различные немецкие фрау снарядили

своего любимца в путь-дорогу, добыли ему отважных спутников и снабдили деньгами. Мориц твердо решился отправиться в Курляндию отыскивать престол и приобретать невесту. Относительно последней он не прельщался никакими очаровательными мечтами о русской царевне-красавице. Он знал наперед, что, сделавшись ее супругом, возложит на себя тяжелое иго, что будущая подруга жизни станет держать его в руках и спуска ему не даст. Но так как брак с вдовствующей герцогиней по постановлению курляндского сейма, имевшего в этом случае свои основательные причины, оказывался необходимым условием для получения кем бы то ни было герцогской шапки, то Мориц решился и на законное, неразлучное сожителство с Анной Ивановной. Как ни горька будет при этом условии его супружеская жизнь, но, как думал он, тяготы и неудобства этой жизни будут вполне вознаграждены тем высоким положением, какое он займет, сделавшись владетельным государем Курляндии и Семигалии, где, конечно, всегда можно будет найти миловидных немочек.

– Как же ты, так прямо и отправишься в Курляндию как будущий герцог? – спросил в заключение Морица король-курфюрст.

– О нет, вселюбезнейший родитель, у меня для поездки туда имеется весьма благовидный предлог. Мне доставили из Митавы бумаги, из которых видно, что у моей матушки есть претензии на имения, находящиеся в Курляндии, принадлежавшие некогда графам Кенигсмаркам, и на первый раз я являюсь в Митаву только для того, чтобы предъявить эти претензии.

– Очень благоразумно. Я вижу теперь, что ты не такой сорванец, как я думал, – с выражением удовольствия проговорил король. – Прощай!.. Желаю тебе успеха, но не забывай того, что я говорил, и не плачься на меня, если очутишься в Ченстоховской крепости или в Кенигсштейне...

XI

В июле месяце 1726 года в небольшом городе Митаве, столице тогдашнего герцогства Курляндского, заметно было особое оживление. Толпы народа собрались около дома тамошнего бургомистра. Этот каменный дом в три этажа, с тремя небольшими окнами в каждом из них, с высокой черепичной крышей и с обширным каменным крыльцом, пристроенным с улицы, выглядел очень угрюмо, как старик, порядком поживший на белом свете; но теперь убранство его еловыми ветками, зеленью и гирляндами из цветов, а также выставленные на его крыльце значки городских ремесленных цехов как будто молодили его. Перед крыльцом стояла раззолоченная огромная карета, запряженная шестеркою коней, при прислуге, одетой в герцогскую ливрею. Около кареты разъезжали более или менее неуклюжие всадники в коротких синих кафтанах и в небольших кругловатых пестрых шапках. Всадники эти были представители местной городской стражи, заменявшие в торжественных случаях телохранителей при герцогах, а теперь при герцогине. Хотя обстановка около дома бургомистра и показывала, что здесь находится почетный гость, но все же видно было, что он не принадлежит к числу коронованных или владетельных особ, так как ради его приезда в Митаве не было ни пушечной стрельбы, ни колокольного звона.

Экипажу герцогини пришлось ждать у крыльца не слишком долго, так как вскоре после его прибытия на крыльце показался высокий и статный, чрезвычайно красивый молодой человек, лет под тридцать. На длинные, темные локоны его модного парика была надета небольшая, в виде берета, поярковая шляпа со спущенными назад тремя белыми страусовыми перьями. Банты из белых и зеленых лент с длинными концами украшали оплечье его шелкового французского кафтана, а из-под короткой, слегка накинутой на плечи епанчи виднелся конец длинной шпаги, на рукоятке которой был также разноцветный бант. Эти украшения, а также кружевное жабо и покрывавшие до половины руки такие же манжеты придавали щеголеватому наряду молодого человека что-то женственное и как бы противоречащее мужественному виду и смелому его взгляду. При появлении его на крыльце вежливые митавские граждане снимали с голов и шляпы, и колпаки, замужние женщины приветливо поклонились ему, а молодые девушки, стоявшие кучкой в стороне, – на которых знатный гость бросил проницательный взгляд и с которыми он раскланялся чрезвычайно любезно, – сделали в ответ на его приветствие жеманный книксен и с любопытством засматривались на него.

Карета, в которую сел гость герцогини, направилась в сопровождении отряда городской стражи к герцогскому замку.

Если старинный дом почтенного бургомистра, в котором по приезде своем в Митаву остановился Мориц, как в доме самого почетного обывателя города, выглядел не слишком приветливо, то еще сумрачней представлялся древний замок Кеттлеров, окруженный рвами с подъемными мостами и с башнями, более или менее осыпавшимися под влиянием времени и непогод. Как ни силился Мориц представить в своем воображении, что в этом замке живет какая-нибудь очаровательная красавица, которую можно было добыть, только преодолев разные опасности и напасти, но оно отказывалось ему служить, так как он уже заранее слышался о неприглядности обительницы возвышавшегося теперь перед ним древнего замка.

Через ряд мрачных комнат с высокими сводами, поглощавшими и тот свет, который не слишком изобильно врывался в узкие окна замка, Мориц вошел в залу, где должна была произойти первая встреча его с Анной Ивановной. В залу эту вступила и та небольшая кучка придворных немцев, которые, встретив Морица на лестнице замка, проводили его до аудиенц-залы.

Еще Мориц не успел осмотреть скромное убранство этой комнаты, как гайдук отворил одну половинку дверей, ведущих из внутренних апартаментов, и в залу вошел гофмейстер герцогини Петр Михайлович Бестужев-Рюмин, которому один из присутствующих здесь камергеров герцогини и представил «его высокоблагородие» графа Морица Саксонского, прибывшего в Митаву, чтобы изъявить чувство глубочайшего уважения ее светлости, герцогине Курляндской и Семигальской, и просить ее высокого покровительства по своему семейному делу.

Бестужев-Рюмин зорким взглядом окинул знатного гостя и, проговорив ему несколько обычных в подобных случаях любезностей, быстро вышел из залы в апартаменты герцогини.

– Точно, что красавец собой, ваша светлость, – доложил Бестужев. – Вы изволите знать его отца; граф поразительно похож на него, но только еще красивее, и притом, конечно, его молодость дает ему большое преимущество перед королем.

Сильно екнуло сердце герцогини. Дыхание ее участилось, и она от сильного волнения стала дышать не столько ртом, сколько носом, так что послышалось какое-то не слишком приятное сопение. Одолев охватившее ее на первый раз смущение, она оправилась и пошла в аудиенц-залу, сопровождаемая шедшими сзади ее двумя придворными дамами и следовавшим за ними гофмейстером.

Обе половины дверей аудиенц-залы распахнулись, и герцогиня явилась перед Морицем, который приветствовал ее почтительно-медленным и глубоким поклоном. Герцогиня подала ему свою здоровенную руку, которую он поцеловал.

– Я очень рада видеть вас у себя, – пробасила герцогиня таким густым голосом, который удалял всякую мысль о женственности.

Все бывшие в наличности придворные и сам гофмейстер вышли из аудиенц-залы, и герцогиня, пригласив Морица сесть, повела с ним разговор о путешествии графа. Превосходно вылощенный при разных европейских дворах, граф Саксонский мог всегда и везде быть самым приятным собеседником и найтись с кем бы то ни было. Он только вскользь упомянул о мнимой причине своего приезда в Митаву и затем стал болтать так мило и непринужденно, что с первого же раза очаровал нестарую еще вдову не только своею наружностью, но и изысканною любезностью. Мориц тотчас же сумел наладить себя на вкус Анны Ивановны преимущественно разговорами об охоте и стрельбе из ружей, любимых развлечениях мужественной герцогини, и она в конце его визита предложила ему приехать к ней на обед. После обеда, за картами, до которых герцогиня была также большая охотница, Мориц остроумно шутил над своим проигрышем и самым милым образом любезничал с хозяйкой, которая успела по уши влюбиться в него.

Посещения графом герцогского дворца учащались все более, причем для него открывалась возможность подолгу беседовать с герцогиней с глазу на глаз. Несмотря на свое долголетнее уже пребывание среди немцев, Анна Ивановна сохранила исконную привычку московских боярынь – жалиться на свою горькую судьбу. Она не только с полною откровенностью, но даже с преувеличением говорила о тех притеснениях и о тех унижениях, которые приходилось ей испытывать с разных сторон, и преимущественно со стороны всевластного временщика, князя Меншикова. Она сетовала на императрицу и ее дочерей, не оказывавших ей должного по рождению внимания, на свое печальное сиротство и на свое вдовье одиночество. Нетрудно было догадаться, к чему клонились речи такого содержания, и Мориц, по-видимому, сочувственно вторил чуть не со слезами на глазах жалобам герцогини и, казалось, чрезвычайно близко принимал к сердцу ее горе. Мало-помалу дело между хозяйкой и заезжим гостем дошло до сердечных объяснений. Из намеков его она ясно поняла, что так сильно прельстивший ее Мориц готов просить ее руки, а он, в свою очередь,

из намеков герцогини столь же ясно уразумел, что она не прочь сделаться его супругою. Казалось, что теперь для Анны Ивановны наступила счастливая пора.

Усердно ухаживая за Анной Ивановной, Мориц, однако, украдкой при разговорах с ней засматривался на сидевшую по временам тут же хорошенькую фрейлину герцогини. Между ними начался уже тот обмен взглядов, который тотчас, лишь только посматривающие друг на друга останутся наедине, ведет к дружескому разговору. Герцогиня, занятая Морицем, не обращала внимания на взаимное переглядывание с ним молодой девушки. Мориц, уловивши минуту, передал фрейлине страстное письмо, которое та, растерявшись и покрасневшись, приняла и, не сказав ничего, торопливо спрятала за корсаж своего платья, слышав шаги приближавшейся герцогини в сопровождении ее гофмейстера. От зоркого глаза этого последнего не укрылась ни передача чего-то Морицем, ни смущение Иды. Но сообразительный Бестужев сделал вид, что ничего не заметил, и не счел нужным сообщать до поры до времени герцогине о любовных шашнях ее вероломного гостя.

Вскоре, однако, зарождавшееся счастье Анны Ивановны было нарушено тревожными известиями из Петербурга.

Бестужев получил присланное оттуда с большими предосторожностями письмо от своей сестры княгини Волконской, в котором она уведомляла его, что светлейший поехал к русским границам не за тем, чтобы осматривать расположенные там русские войска, но за тем, чтобы внезапно появиться в Митаве и начать хлопотать о герцогской короне.

Со своей стороны, княгиня Марфа Петровна Долгорукова, начавшая, по наставлению графа Рабутина, усердно вдаваться в политику, сообщала тайком родственнику своего мужа, бывшему русским посланником в Польше, князю Василию Лукичу Долгорукову, о замыслах Меншикова на Курляндию и внушала ему, чтоб он как можно зорче следил за действиями Яна Сапеги, как главного сторонника князя Александра в Польше, прибавляя, что, по слухам, сама государыня очень недовольна поездкою Меншикова и что поэтому со стороны Долгорукова было бы не совсем благоразумно оказывать светлейшему какую-либо поддержку.

По внушению Натальи Лопухиной самый преданный ей друг граф Левенвольд, имевший, как немец, множество приятелей и знакомых в Курляндии, в своих к ним письмах предупреждал их, чтобы они опасались честолюбивых происков Меншикова и дали бы решительный отпор его замыслам и что это удобно сделать, так как государыня осуждает его действия из опасения, что они нарушат добрые отношения к Польше.

Таким образом, недруги Меншикова, подкапываясь под него в Петербурге, создавали ему затруднения и в Курляндии, о чем он пока еще ничего не ведал.

XII

Петр Великий справил в 1711 году свадьбу своей племянницы Анны Ивановны с Вильгельмом, герцогом Курляндским, предпоследним представителем дома Кеттлеров, так как другой представитель этого дома, семидесятилетний старик герцог Фердинанд был бездетен. Петр нашел нужным воспользоваться новым родством, чтобы утвердить влияние России на Курляндию, состоявшую в ту пору под верховною властью Польши. Со своей стороны поляки высказывали мысль, что по пресечении дома Кеттлеров нужно будет присоединить герцогство Курляндское к коренным областям Польши и разделить его на воеводства, подобно тому как были разделены и другие области, входившие в состав Речи Посполитой, и таким образом должно было прекратиться полусамостоятельное политическое существование герцогства Курляндского. Для охранения выгод России в герцогстве Петр назначил надежного соглядатая, Петра Михайловича Бестужева-Рюмина, в качестве гофмаршала вдовствующей герцогини.

Анна Ивановна тяготилась своим вдовьим одиночеством, а дядюшка ее, со своей стороны, хотел выдать ее замуж снова, но непременно за такую персону, которая, будучи обязана России получением герцогского достоинства, держала бы ее сторону. Он приискивал Анне разных женихов, которые могли бы, по его соображениям, удовлетворить такому требованию. За женихами из владетельных германских домов останки вообще быть не могло. Женихов в разных немецких, германских княжеских, маркграфских и ландграфских семействах наплодилось куда как много. Они, как младшие в роде, были не только бедны, но и большею частью просто-напросто убоги. Поэтому такая невеста, как Анна Ивановна, казалась для них сущим кладом. Ее, как русскую царевну, – в ту пору Россию в Европе представляли страной, изобиловавшей и серебром, и золотом, и драгоценными камнями, и редкими мехами, – считали богатейшей невестой, да вдобавок к этому можно было вместе с ее рукой получить еще и герцогство, не в виде пустого титула, а в виде поземельной собственности. Нашел Петр своей племяннице подходящего, как казалось, жениха – герцога Саксен-Веймарского, но неизвестно почему вдруг прогневался на своего будущего племянника и послал ему не слишком вежливый отказ. Нашел Петр ей и другого жениха – маркграфа Брауншвейг-Шверинского, но и этот брак, по разным политическим конъюнктурам той поры, не состоялся. Считались некоторое время женихами герцогини и другие из владетельных домов персоны, а именно: принцы Прусский, Виртембергский и Ангальт-Цербстский, а также два ландграфа Гессен-Гамбургские. Думал посвататься к Анне Ивановне и знаменитый саксонский министр граф Флемминг, разведшийся в 1715 году со своей супругой. Вообще, перечень женихов Анны Ивановны был очень длинный, но брак ни с одним из них состояться не мог.

Теперь, по-видимому, дело приходило к развязке, Анна Ивановна без ума влюбилась в Морица, но, на ее беду, она сама по себе никак не могла, как женщина, затронуть сердце Морица, который думал вовсе не о невесте, а о том приданом, какое он мог получить за нее. Главною же статьей приданого было герцогство Курляндское, а оно-то именно и не давалось Морицу, потому что сильным противником графа Саксонского являлся князь Меншиков, с которым слишком трудно было тягаться и жениху, и невесте.

Меншиков еще в 1711 году подумывал о том, чтобы сделаться герцогом Курляндским и Семигальским, но «Алексеич» ради тесной дружбы с Августом II не хотел поддерживать князя в его искательствах. Теперь же сам Меншиков был уже настолько силен и сам по себе, и покорностию перед ним императрицы, что, казалось, мог без особых усилий достигнуть давно желаемой цели.

Сведав о приезде Морица, курляндские дворяне поспешили со всех сторон собраться на сейм, открытый в Митаве ланд-маршалом, – и на этом сейме Мориц, в отпор Меншикову, единогласно был провозглашен герцогом. Видя, что он покончил в Курляндии свое дело благополучно, герцогиня поспешила в Петербург, надеясь там расстроить замыслы Меншикова и выхлопотать со стороны России признание дорогого ей Морица в достоинстве герцога Курляндского.

По случаю избрания нового государя начались в Митаве пиры и празднества; то же самое, но совсем по иному поводу происходило в это время и в Риге, куда, следуя в Митаву, приехал на несколько дней светлейший и куда со стороны Митавы тянулся небольшой поезд герцогини Анны, направлявшейся в Петербург для противодействия Меншикову.

– Что тебе, Александр Данилыч, в Курляндии делать? Плохо там тебе житься будет, – говорила герцогиня свидетелю с ней в Риге Меншикову. – Ты не немецкий человек и не лютор, не поладишь с курляндцами. На себе я извела, как там тяжело.

Меншиков молча слушал герцогиню, у которой вдруг навернулись на глазах слезы; она приостановилась, как бы собираясь с силами, чтобы продолжать свои увещания.

– Уж ты, батюшка, Морица-то не забижай, – закончила она плаксивым голосом, но в ответ на эту просьбу Меншиков только равнодушно посмотрел на Анну Ивановну, с тревогой в душе ожидавшую его ответа.

– Не дури, Ивановна, – начал Меншиков. – Говорю тебе, не дури! Какой он тебе жених; чуть не на десять лет будет помоложе тебя. Думаешь, что ты полюбила его, а он, поверь мне, не о тебе думает, а только о твоих денежках да о будущем своем владетьстве в Курляндии.

Анну Ивановну сильно передернуло от этой откровенной речи Меншикова.

– Полно, Данилыч, грешить; оговаривать попусту людей – грех большой. Конечно, меня, горемычную вдову, всякий обидеть может; потому-то мне и нужен защитник и покровитель. А как будут жить муж с женой, это уж их собственное дело, и другим в него мешаться нечего.

– Ну, нет, – решительным голосом перебил Меншиков, – в твой брак многим вмешиваться нужно; дело это не твое домашнее, а государственное. Российскому империи нужно утвердить свою инфлуэнцию над Курляндскою землею, а коли там государствовать будет немец и лютор, да еще с поддержкою короля польского, как твой Мориц, то этому не бывать стать. Нехорошо тогда будет, и все наши давнишние конъюнктуры пропадут попусту, и дело у нас дойдет до десперации.

– Господь с твоими десперациями и конъюнктурами! Ты мне лучше скажи, где ты для Курляндского герцогства отыщешь русского потентата? – проговорила Анна Ивановна, делая вид, как будто она ничего не знает о замыслах князя.

– Полно, мать моя, притворяйся, будто ты и не ведаешь ничего! Да, я думаю, один Бестужев тебе давным-давно все растолковал; а если нет, так я тебе сейчас же растолкую. Я буду там герцогом! – гневно крикнул Меншиков, вскочив с места. – И посмотрю, кто посмеет противодействовать мне!

Анна Ивановна растерялась. Издавна уже приученная, как и ее сестры, не только к бесцеремонному, но и к грубому обращению петербургских вельмож, которые не называли даже ни ее, ни ее сестер по именам, а звали попросту только – «Ивановна», – герцогиня переносила терпеливо оказываемое ей пренебрежение и наносимые очень часто оскорбления. В особенности денежные дела, вследствие затруднения в получении назначенных ей на прожиток вдовьих доходов, заставляли ее принижаться перед теми, кто имел силу при петербургском дворе. И теперь она перенесла бы выходки светлейшего, если бы сердце не напоминало ей о Морице.

– Трудно будет тебе, Данилыч, рассестся на герцогском кресле: не про тебя оно сделано; и без него обойдешься, – насмешливо сказала раздраженная герцогиня.

– Если оно не сделано для меня, то еще меньше сделано про твоего Морица! – вспыхнул Меншиков. – Я – светлейший князь Священной Римской империи и завтра же могу получить герцогское владение в Священном Римском империуме. Впрочем, я и без того герцог Ижорский и российский генерал-фельдмаршал. Наконец, я шляхтич польский и уже по одному этому имею право не только на герцогскую, но и на королевскую корону. Это знает весь свет, – горделиво хвастался Меншиков. – А Мориц-то что? Какой-то саксонский графчик, да и то состряпанный своим родителем бог весть как!..

Грозно гремел в ушах Анны Ивановны голос разгневанного временщика, который, как она очень хорошо знала, не давал спуска никому, кто имел бы дерзость стать ему на дороге. Герцогиня растерялась пуще прежнего.

– Что и говорить о тебе, светлейший князь, – почтительно заговорила будущая самодержица всероссийская, – ты мой милостивец и благодетель, немало ты добра мне и каждому соделал. Многие ли могут сравниться с тобою... Ты прости меня, если проронила неосторожно о тебе слово. Право, ненароком... Уж больно он-то мне дорог. Женское сердце не камень, а вдовство и сиротство вконец измаяли меня. Пойми мою скорбь, князюшка. Будь к нему, светлейший, милостив, не губи его, а вместе с ним не губи и меня.

У Анны Ивановны выступили навернувшиеся еще и прежде на глазах слезы.

– Молю тебя, княже, – сказала она, вставая с места и кланяясь Меншикову, – допусти его сесть хоть на день на герцогское кресло, а как мы повенчаемся, то оба уберемся из Митавы, а ты уже тогда властвуй, как сам знаешь. Мешать тебе мы не станем.

Меншиков улыбнулся.

– Скажу я вашей высокогерцогской светлости, – начал он вразумительным и ровным голосом, – что в настоящем деле не похоть и не причуды мои проявляются, а настоят в том важная государственная потребность. Царь Петр дал мне завет не упускать Курляндии из-под русской власти. Да и сами курляндцы издавна желают подчиниться моей державе. Еще около пятнадцати лет тому назад, когда я с российским воинством был в Померании, знатные персоны из курляндского шляхетства слезно и умильно просили меня быть у них владетельным князем и письма писали обо мне к польским панам, дабы те о моем избрании в герцоги старались. Вот как приедешь в Питер, так порасспроси у Ивана Сапег; он тебе то же самое скажет. Говорю тебе, Анна Ивановна, – настойчиво заключил Меншиков, – что господину Морицу в Курляндии герцогом не бывать, и я от моих твердых намерений не отступлюсь ни за что. Не женщина я, чтоб сегодня делать одно, а назавтра другое.

– Уж коли, батюшка, так говоришь, так что же мне, бедной вдове и сироте, с тобой делать! По крайней мере, уладь, княженька, мое дело хоть так, чтобы царица соизволила мне пожаловать прибавочных деревень, да приказала бы из своей казны отпустить деньжонок в зачет дохода с моих курляндских местностей. Искренно говорю тебе, что все это время страх как в деньгах нуждаюсь.

– Это-то, пожалуй, я тебе, светлейшая герцогиня, и устрою, – покровительственно проговорил Меншиков, – а о господине Морице и думать забудь, говорю тебе начистоту.

– Да уж ты, отец родной, хоть не сильно забижай его, – жалобно, сквозь слезы проговорила герцогиня. – Что он перед тобой? Сушная ничтожность. Щелчком его, как муху, зашибить можешь.

– Да как поедешь в Петербург, так путать там да мутить не извольте, – добавил Меншиков.

– Не понимаю я твоих речей, князь Александр Данилович, – сказала Анна Ивановна.

– Хочу я сказать, чтобы вы, бабы, в дрязги мешаться не изволили. Крепко уже они надоели мне.

Если сетования на свою горемычность, составлявшие общий припев русских женщин того времени и в крестьянской избе, и в хоромах, как в боярских, так и царских, были по привычному чувству искренни, а отчасти и справедливы со стороны герцогини Курляндской, и если просьба ее о Морице была еще искренняя, то покорность ее пред Меншиковым была только притворством. Анна Ивановна вовсе не думала окончательно уступать ему и надеялась повернуть в Петербурге вопрос о герцогстве Курляндском в пользу своего возлюбленного.

Образ ее действий в Петербурге совершенно противоречил тому заискивавшему смирению, какое она в конце своих переговоров с Меншиковым выразила перед ним. Со своей стороны, Меншиков поспешил передать в Петербург подробности о свидании своем с герцогиней в письме, которое указывает властное обращение Меншикова с герцогиней и униженность ее перед могучим временщиком.

XIII

– Нет, господа! – смело и задорно говорил Мориц на рыцарском ландтаге собравшимся в Москве курляндским дворянам. – Вы ни в каком случае не должны поддаваться России и предпочесть князя Меншикова, чуждого вам и по происхождению, и по языку, и по вере, избранному вами герцогу, который готов сложить голову в битвах за права и честь вашей родины.

Громкие одобрительные отклики были ответом на пылкую речь Морица.

– Мы сумеем постоять за себя и за нашего возлюбленного герцога! – голосили дворяне.

– Тем более что и Польша поддержит нас, – поддакивали сторонники Морица.

Немки были в восхищении от Морица и со своей стороны, как умели, возбуждали в пользу его чувства преданности и отваги в своих мужьях, отцах и братьях и в тех молодых людях, которые были равнодушны – один к Луизе, другой к Марте, третий к Мине и так далее. Короче, у Морица составлялась такая сильная партия в самой Курляндии, что Меншикову трудно было бороться с ним. Все были против князя, все готовы были стоять за графа Саксонского, умевшего воодушевлять мужчин и прельщать женщин.

В Петербурге герцогиня была в этот раз принята так, как ее обыкновенно там принимали. Императрица встретила ее вежливо, но сухо. Никто из придворных сановников не спешил засвидетельствовать ей чувство уважения и преданности, так как никто еще не предчувствовал в ту пору, что через три с небольшим года бывшая в загоне герцогиня Курляндская сделается самовластной повелительницей России. Пока ей еще самой приходилось отыскивать покровительство у тех, кто имел значение при дворе.

Перебирая в мыслях подходящих к тому лиц, она прежде всего остановилась на Левенвольде.

«Хотя, – думала она, – он и не в прежней милости, но не мешает попытаться: авось он, как немец, возьмется горячо за дело своих земляков. А царица ему в этом случае поверит более, чем кому-нибудь другому, так как ей известно, что Левенвольд знает отлично тамошние дела и что он хотя человек и пустой, зато честный и бескорыстный и обманывать ее не станет».

При этих соображениях встретилось, однако, для герцогини особое затруднение. Нельзя было ей не заговорить прежде всего о Морице, а ей очень не хотелось выдать свою сердечную тайну Левенвольду, с которым она не была близка.

– Точно, что это будет не под стать, – заметила княгиня Аграфена Петровна Волконская, с которой тотчас же по своем приезде увиделась герцогиня, привезшая из Митавы письмо от ее отца. – Да это, впрочем, легко обойти; можно, ваша светлость, повести дело через Наталью Лопухину; ведь кто же не знает в Петербурге, что Левенвольд к ней самый близкий человек. Да пусть она и не говорит, что вам угодно выйти замуж за графа, а как будто от себя скажет, что хорошо бы было уладить дело таким способом. Да и, кроме того, Левенвольд большой приятель Остермана, а Меншикову великий недруг, так Левенвольд легко может подбить и этого немца, а он прехитрая лиса и уж сумеет навредить светлейшему так или иначе.

Анна Ивановна охотно согласилась на предложение своей приятельницы, которая и повела ее дело через Лопухину. Через несколько дней императрица, подготовленная откровенною беседою с Левенвольдом и намеками Остермана, уже не без тревожного чувства стала подумывать о тех последствиях, какие могут повлечь за собою самовластные действия Меншикова в Курляндии. Не сидела смирно и княгиня Марфа Петровна. Она через своего мужа снеслась с его близким родственником, Васильем Лукичом Долгоруковым, состоявшим русским послом в Варшаве. Долгоруков, узнав из этого письма, что императрица недо-

вольна поездкою Меншикова в Митаву, поспешил в своем донесении из Варшавы подделаться под смысл сообщенных ему известий и писал, что попытка России упрочить как бы то ни было свое влияние в Курляндии неизбежно повлечет к разрыву с Польшей. Осторожный дипломат, разумеется, не только не затрагивал с неодобрительной точки зрения действий Меншикова, но, напротив, лично выказывал ему сочувствие и находил, что светлейший был бы превосходным правителем, что передача ему герцогской короны соответствовала бы видам России и что ему со стороны последней следовало бы отдать решительное предпочтение перед всеми другими кандидатами. «Но, невзирая на сие, – писал Долгоруков, – я, по рабской моей должности, обязан довести до слуха все милостивейшей государыни и о том „шагрине“, какой производится в Польше слухами о делах курляндских и о порождающейся вследствие того ажитации, и предуведомить, что такой ход дел угрожает великими неприятностями российскому кабинету».

Противники Меншикова видели, что хотя расположение императрицы к нему уже и поколеблено, но что все-таки направленных против временщика сил еще недостаточно для нанесения ему решительного удара, и потому положили воспользоваться еще особою помощью. Княгиня Марфа Петровна, близкая, как дочь Шафирова, ко двору Елизаветы и бывшая в тесной дружбе с госпожою Рамо, компаньонкой цесаревны, взялась за это.

– Какой герой граф Мориц Саксонский! – заговорила однажды госпожа Рамо в присутствии Елизаветы. – Когда он был во Франции, все француженки сходили от него с ума, военные его боготворили. Под французскими знаменами он оказывал чудеса храбрости, а кто не знает, что во Франции каждый простой солдат – герой! – увлекалась патриотическим чувством француженка. – А между тем граф Мориц выдавался даже и среди них! Он – образец мужественной красоты, беспредельной храбрости, очаровательного изящества и утонченной вежливости. Ах, как жаль его: он наверно погибнет в Курляндии, князь Меншиков убьет его! – вскрикнула в заключение госпожа Рамо, закрыв в ужасе глаза руками, как будто избегая смотреть на то кровавое зрелище, которое представлялось ее воображению.

Возгласы, наводящие на слушателей и сострадание, и ужас, были госпоже Рамо в привычку, так как она до приезда в Россию играла в Париже на драматической сцене, где раздирающие душу вскрикивания были тогда в большом ходу.

Семнадцатилетняя цесаревна, пылкая сердцем, слушала внимательно рассказ своей собеседницы о несчастном и достойном любви женщин Морице. Отзывы о нем со стороны француженки смешивались в воображении девушки с слышанными ею в детстве сказками о красавцах царевичах, заезжавших на Русь за невестами из-за далеких синих морей, из неведомых стран, и Елизавета влюбилась заочно в Морица, как была она влюблена таким же способом в короля французского Людовика XV.

Госпожа Рамо несколько раз потом заговаривала с цесаревной о Морице.

– Как жаль, – тараторила она, – что он не придет в Петербург!.. Как бы хотелось мне еще раз взглянуть на него. Я просто влюбилась в него, когда увидела его в первый раз в театре в Париже, хотя, – добавила тоскливым голосом Рамо, – я без ума любила моего бедного покойного. Бедный, милый Альфред!.. Он умер в цвете лет!.. О, как тяжела была для меня его потеря!

Затронутая болтовней своей компаньонки, Елизавета сперва стыдливо и робко принималась расспрашивать ее о Морице и, разумеется, в ответ на это слышала каждый раз самые восторженные о нем похвалы, которые все более и более затрагивали ее нежные чувства.

– О, его надобно спасти! Непременно нужно спасти от свирепого князя, – болтала Елизавете француженка. – Если бы я могла лично вмешиваться в политические дела, – восторженно продолжала она, – я бросилась бы к ногам государыни и просила бы ее о пощаде Морица. Впрочем, когда я увижу графа Бассевича, я переговорю с ним, он передаст герцогу,

а тот, вероятно, не откажется обратить милостивое внимание государыни на этого прекрасного во всех отношениях молодого человека.

Госпожа Рамо тяжело вздохнула.

– А вы, ваше величество, согласились бы быть когда-нибудь герцогиней Курляндской? – вдруг круто обратилась госпожа Рамо с таким вопросом к Елизавете.

– Об этом пришлось бы еще подумать, – улыбнувшись, сказала та, но по голосу и по выражению лица можно было догадаться, что она поняла настоящий смысл этого вопроса и в душе отвечала на него согласием.

Расчеты и намеки госпожи Рамо все сильнее и сильнее действовали на игривое воображение девушки, и Мориц представлялся ей в самом пленительном свете. Елизавета попыталась заговорить о нем и со своей старшей сестрой Анной, которая, со своей стороны, отнеслась к Морицу весьма сочувственно и внушила своему мужу, чтобы он поддержал Морица у государыни. Таким образом, претендент на курляндскую корону совершенно неожиданно нашел для себя сильных покровительниц при русском дворе.

– Князь Меншиков впускает ваше величество в большие затруднения своим образом действий в Курляндии, а удача там усилит еще более его высокомерие, – твердил герцог своей теще, у которой он пользовался не только расположением, но и полным доверием, как самый близкий к ней человек.

Граф Петр Андреевич Толстой, считавшийся умнейшим человеком той поры, вторил герцогу, и, наконец, граф Девьер, женатый на сестре Меншикова, и тот, не доброхотствуя своему шурина за те оскорбления, какие не раз приходилось ему выносить от князя, старался вредить ему всеми способами.

– Я велю написать князю указ, чтоб он тотчас же вернулся сюда, – сказала наконец Екатерина герцогу.

– Этого мало: он человек опасный и, вернувшись сюда, может, начальствуя над войсками, наделать много бед. Его тотчас же по приезде нужно арестовать, – отозвался герцог, с которым согласились и другие ближайшие советники императрицы.

Таким образом, над светлейшим собиралась страшная гроза.

Вскоре, однако, под влиянием своего министра, графа Бассевича, герцог одумался и понял, что он затевает с Меншиковым опасную борьбу, что князь, вернувшись в Петербург, наверно одолеет своих противников и что в таком случае ему, герцогу, жить в России делается еще несноснее, чем прежде.

Граф Рабутин, которого Долгорукова пыталась подбить против Меншикова, действовал, однако, с крайнею осторожностью и отделялся от настоящих обворожавшей его княгини шуточками, любезностями и пустыми обещаниями, уклоняясь от участия в кознях, затеянных против Меншикова. В сущности же он благоприятствовал могущественному временщику, имея в виду, что князь пользовался благосклонностью венского двора и что для противодействия ему он должен получить определенные инструкции от своего кабинета.

XIV

Политика редко обходится без любви, то есть без влияния женщин на мужчин или наоборот. Такою совокупностью между той и другой отличается в особенности наша история XVIII века, когда почти в течение двух его третей не только правили государством женщины, но когда женщины тайно имели гораздо более влияния на государственные дела, чем это обыкновенно выставляется в истории, довольствующейся только главными внешними явлениями. Разрешение самых важных государственных вопросов зачастую сопровождалось вздохами влюбленных, а порой и страстными поцелуями, если только любовь не обратилась уже в дружбу и привычку, при которых такие выражения чувств оказывались излишними, и дело обделывалось гораздо хладнокровнее. Князь Александр Данилович Меншиков не принадлежал, однако, к числу нежных людей, у которых сердце берет перевес над холодным рассудком. Он остался бы непреклонен к слезам женщин и глух к просьбам красавиц и тогда, если бы за Морица молила не только Анна Ивановна, которая не могла затронуть сердце мужчины, но и первая красавица во всей вселенной. Он не расчувствовался бы даже и тогда, если бы вместо трубного гласа герцогини услышал чарующий женский голос, не смягчился бы от этого нисколько и поступил бы так, как находил бы для себя более выгодным и более удобным.

Действительно, не смягченный нисколько ни мольбами, ни слезами сироты-вдовицы, бессердечный Данилыч прибыл в Митаву с твердым намерением смирить предприимчивого смельчака Морица и подавить его строптивых сторонников. Такие сторонники принадлежали исключительно к курляндскому дворянству или рыцарству. Мориц, страстный и неутомимый охотник, разъезжал по помещикам-немцам, приятельски обходясь с ними, а они беспрерывно повторяли данный ими обет – умереть за своего возлюбленного герцога. Горожане колебались, не решаясь предпринять ничего решительного ввиду напора с двух противоположных сторон, ставившего их в крайне затруднительное положение; тем не менее они для избежания пущих бед приготовили Меншикову в Митаве встречу, далеко превосходившую своей торжественностью тот прием, какой был оказан Морицу по приезде его гостем и просителем к герцогине Курляндской. При въезде Меншикова немецкий город оглашался пушечными выстрелами, звоном колоколов, звуками труб, грохотом литавр и криками «виват», в которых выражалась радость – разумеется, притворная. Митавские бюргеры, не ладившие никогда – как это было во всех немецких городах – с дворянством, были даже как будто довольны приездом князя, так как они могли оказать пышным приемом противнику Морица, излюбленного дворянством, демонстрацию дворянству.

– Сейчас видно, что меня желают иметь здесь герцогом, – самоуверенно говорил светлейший с подобострастием окружавшим его лицам. – Только враги мои могут распускать противную этому молву.

Само собой разумеется, что в ответ на это Данилыч мог слышать только утвердительный ответ.

Будущий герцог зазнался еще более. Он приказал, чтобы депутаты от дворянства немедленно явились к нему.

– Государыня, – сказал им Меншиков по-русски, – не признает действительным сделанный курляндским дворянством выбор герцога, и ее величеству благоугодно, чтобы безотлагательно произведены были новые выборы.

Переводчик передал слова князя по-немецки; в ответ на это среди депутатов послышался явственный ропот.

Сурово обвел их Меншиков своим строгим взглядом, и каждый, на кого падал этот взгляд, плотно стискивал губы, как бы желая показать, что он своим молчанием соглашался с

князем, но вслед затем замолкнувший на время немец начинал исподтишка бормотать нечто не совсем приятное для светлейшего.

Видя, что взгляд не подействовал так, как это было желательно, Меншиков обратился опять к словесным пояснениям.

– Слышали и поняли ли, господа, что вам было сказано от имени ее императорского величества? – спросил он громким и твердым голосом, не допуская никакого возражения.

Немцы снова пробормотали что-то себе под нос, но уже гораздо сдержаннее, чем прежде.

– Скажи им, – внушительно заговорил Меншиков переводчику, – что я с ними толкую теперь ладом, но что если они станут упрямы, то я буду у них в Курляндии, но уже не один, как теперь, а с пятнадцатитысячным войском. Я говорю им дело. Если же они не верят мне, то я примусь убеждать их без дальнейших разговоров палочными ударами. Так и скажи, да кстати напони им, что Сибирь хотя и за горами, но все же я сумею показать им туда дорогу.

Немцы по передаче им этих угроз были подавлены ужасом и стали пятиться к дверям уже в совершенном молчании.

Припугнув благородных депутатов палками и Сибирью, Меншиков хотел поскорее воспользоваться наведенным им на курляндцев ужасом и потребовал, чтобы Мориц немедленно явился к нему с объяснениями относительно тех беспорядков, которые он позволил себе произвести в Курляндии.

– Скажи твоему князю, – запальчиво отвечал Мориц, – что Курляндия не русская область, а польская, что он распоряжаться здесь не имеет никакого права, а если он хочет видаться со мною, то может прийти ко мне сам.

Граф Саксонский удовольствовался этим надменным ответом и вечером, по своему обыкновению, принялся пировать в кругу своих приятелей и веселых девиц. Немочки смеялись и напевали будущему герцогу нежные песни любви, когда в самый разгар веселья вдруг послышались тяжелые шаги значительного числа людей, выходивших на лестницу того дома, в котором пировал Мориц, а вбежавший в залу слуга только успел в ужасе крикнуть:

– Русские идут!

Произошел ужасный переполох, и произошел он не по-пустому, так как для того, чтобы схватить Морица, к тому дому, где он пировал, шла часть того русского отряда, который приблизился следом за Меншиковым к Митаве и незаметно расположился под городом, а теперь по повелению князя был введен уже в самый город. Очевидно, что небольшое число собеседников Морица, не имевших при себе не только огнестрельного оружия, но даже шпаг, не могло оказать никакого сопротивления наступавшим на них русским. Девицы, его веселые собеседницы, теперь засуетились. Они визжали, пищали, плакали и, ухватив рвавшегося на врагов Морица и за руки, и за его кафтан, задули свечи и тащили его в другую комнату, чтобы он под их прикрытием, пользуясь ночью темнотою, выбрался на улицу. Мориц уступил ухватившим его девицам и без дальнейших приключений успел укрыться у одного из своих митавских приятелей. Несколько же оплошавших его собеседников были захвачены русскими и отведены в место расположения русского отряда.

Меншиков предполагал утром следующего дня повести с курляндцами дальнейшую расправу, но, к изумлению его, гонец, прибывший в эту ночь из Петербурга, привез ему указ Верховного тайного совета и письменное распоряжение за подписью императрицы, о немедленном выезде из Митавы.

Делать было нечего. Хотя будущий герцог и не хотел было повиноваться, но вскоре понял, что необходимо тотчас же ехать в Петербург, чтобы разрушить те козни, которые там

были устроены против него во время его отсутствия. Ему нельзя было медлить, так как стало очевидно, что враги зашли уже слишком далеко.

Нужно было Меншикову прежде всего хоть несколько поладить со своим оскорбленным противником, чтоб выставить свой отъезд из Митавы в более благовидном свете и не дать торжествовать своим недругам.

Меншиков, который, по словам письма Морица к графу Рабутину, явился в Митаву «как властитель», послал теперь самое вежливое приглашение к Морицу, который и отправился на это приглашение к князю, как к человеку гораздо старше по летам и занимавшему высшее положение, разумеется, если не касаться вопроса о герцогстве Курляндском, где Мориц мог считать себя законно избранным государем.

«Мне не стать теперь ссориться с Россиею; напротив, надобно ладить сколь возможно более с петербургским кабинетом», – думал Мориц, читая присланную из Дрездена к нему копию письма, полученного от польско-саксонского посланника в Петербурге саксонским министром Мантейфелем. В письме своем упомянутый министр просил Лефорта указать ему те пути, какими Мориц мог бы приобрести друзей в Петербурге, а Лефорт, страстный охотник до сватовства, отвечал так:

«Nan и Lis будут стоять дороже; лучше бы графу жениться на дочери князя Меншикова, а если и тут будет неудача, то можно будет приударить за Софиею Карловной Скавронской, племянницей императрицы, и во всех этих случаях Курляндия у него не уйдет».

Под именем Nan Лефорт разумел Анну Ивановну, а под именем Lis, как это легко догадаться, – цесаревну Елизавету. Не скрывал он и вопроса о дороговизне той или другой сделки, и употребленные на этот предмет средства имели уже очевидный успех, так как семнадцатилетняя Елизавета благодаря усердию госпожи Рамо начинала уже мечтать о Морице.

Писал Лефорт и самому Морицу об одной из тех намеченных для него невест, которая могла иметь преимущество перед всеми, а именно о Lis.

«Она блондинка и так же высока ростом, как и старшая ее сестра, и склонна к дородности. Пока она еще чрезвычайно стройна; у нее хорошенькое, круглое личико, голубые глаза с поволокой, прекрасный цвет лица и прелестный бюст. Отличается она от старшей сестры своим игривым характером; ей все равно – тепло ли, холодно ли, а живость ее делает ее ветреной. Она всегда стоит на одной ножке. Одарена она замечательною способностью передразнивать походку и выражение лица каждого; на словах она не щадит никого и от нее достается всем и даже герцогу Голштинскому».

«Должно быть, прехорошенькая девушка, – думал Мориц, читая письмо Лефорта. – Не совсем удобно, что она ветрена, но с годами она, конечно, остепенится, да притом ее ветреность отчасти и мне будет служить в пользу: иногда я буду иметь право пошалить на стороне, ссылаясь на то, что она сама ветреница».

Сообразив все это и не зная еще, что Меншиков уезжает из Митавы против своей воли и что в Петербурге подведены под него подкопы, нареченный герцог Курляндский сошелся миролюбиво со своим соперником, и дело покончилось тем, что они порешили борьбу за курляндскую корону не считать личною враждою друг к другу и что тот, кто получит эту корону, обязан будет выплатить своему противнику сто тысяч русских рублевиков.

XV

– Вот видите, граф, какое кружево наплели мы под вашим руководством, – говорила Волконская Рабутину с сияющим от удовольствия лицом. – Надменному временщику расставлены теперь такие сети, что он непременно в них запутается. Он ослушается государыни, не захочет возвратиться, она раздражится против него еще более, и он окончательно сломит себе голову.

– Вы мне приписываете слишком много. Я был во всем этом лицом второстепенным и даже третьестепенным, – уклончиво отвечал Рабутин, провидевший, как тонкий человек, что дело Меншикова может, чего доброго, принять иной оборот, но во время его невзгоды отзывавшийся о нем неблагоприятно в кругу его противников.

Падение Меншикова было очень хорошо подготовлено, и двоедушный дипломат видел, что до времени невыгодно быть на стороне временщика, терявшего свою силу и свое значение, а потому он стал заискивать в среде его противников, не разрывая еще добрых отношений к светлейшему.

– Все, что я имел право сделать и что я действительно сделал, – продолжал он, – заключается только в том, что я не передал еще официально согласия императора на брак дочери Меншикова с великим князем и тем самым не поставил в неловкое положение моего августейшего повелителя.

– И очень хорошо сделали. Вы очутились бы в крайнем затруднении. Великий князь готовился бы теперь вступить в брак с дочерью опального вельможи, а быть может, и такого, который, если нам удастся повести дело так же успешно, как мы вели его до сих пор, отправится в отдаленную Сибирь. У нас никак нельзя ручаться за прочность положения при дворе. Поверьте мне – я это всегда говорила и буду говорить, – что падение Меншикова само по себе проложит путь к престолу великому князю и что, напротив, возрастающее могущество устранит окончательно Петра от дедовской короны.

– Не думаю я этого, – возразил Рабутин. – Выдав свою дочь за великого князя, он пожелает, чтоб она была царицей.

– Но он может и иначе породниться с царским домом. Он может женить своего сына на царевне Елизавете, и тогда на императорский престол сядет его потомство в мужском поколении, и это будет еще более важно для его неограниченного честолюбия...

– Поэтому-то и важно, как мне кажется, ускорить объявлением брака великого князя с княжною Марией. Этим браком окончательно уничтожится возможность осуществления того намерения, какое вы приписываете Меншикову и которое гораздо опаснее того положения дел, какое допускает венский кабинет, и, по правде сказать, допускает не очень охотно.

– Всего лучше было бы, если бы вы, граф, сообщили в Вену, чтоб тамошний кабинет стал хлопотать о совершенном удалении Меншикова от дела. Этого легко достигнуть при той немилости со стороны государыни, которой он теперь подвергся. Я должна сказать вам, что даже заготовлен указ об его аресте немедленно по прибытии его в Петербург. Вам стоит только через барона Остермана довести до сведения государыни, что удаление Меншикова тотчас бы привело к тому союзу Австрии с Россией, которого императрица так горячо желает.

Видно было, однако, что внушения Волконской производили слабое впечатление на осторожного дипломата. Это доказывалось отсутствием с его стороны и подтверждений, и возражений. Действительно, Рабутин положил действовать самостоятельно, поджидая, чем разрешится поколебленное теперь положение временщика.

«Надобно будет напустить на него княгиню Марфу Петровну, – думала Волконская, – он теперь так безумно влюблен в нее, что сделает все, что она ему прикажет».

Предоставив мысленно княгине Долгоруковой повлиять на Рабутина, Аграфена Петровна сочла излишним проверить предварительно его чувства к этой хорошенькой дамочке.

– Давно я не видала княгиню Долгорукову, – сказала она. – Вот если бы я была мужчиной, я только и думала бы о том, как бы почаще видеться с нею.

И Волконская пристально посмотрела на своего собеседника, который в свою очередь легко понял, к чему велась эта речь.

– А знаете, княгиня, – с невозмутимым спокойствием отозвался Рабутин, – несмотря на то, что я один из самых восторженных поклонников этой прекрасной женщины, я при нынешнем положении дел уклонюсь от бесед с нею.

– Почему же это?

– Чтоб не подпасть ее обаятельному влиянию. Хорошенькая женщина может сделать из покорного перед нею мужчины все, что ей вздумается.

Аграфена Петровна поняла истинный смысл слов, сказанных Рабутином, и быстро перевела разговор на общие, ничего не значащие предметы.

По мере того как приближался час решительной борьбы с могучим временщиком, враги его, подстроившие ему козни, трусили все сильнее и сильнее, и только одна Волконская не отступала от своего намерения низвергнуть «варвара», как называла она князя Александра Даниловича.

Сама императрица в ожидании скорого приезда светлейшего как будто сробела. Она стала отзываться о нем снисходительнее и выражать к нему сочувствие, извиняя его образ действий в Курляндии излишнею запальчивостью. Слабодушный герцог Голштинский, заметив такой оборот, начал и со своей стороны заговаривать о Меншикове уже не в том смысле, в каком он говорил о нем несколько недель тому назад. Наконец, когда утром 26 июля 1726 года в Петербурге сделалось известным, что светлейший возвратился из Митавы, то у всех противников его опустились руки, и все они были готовы выдать ему один другого по первому его спросу.

– А что, матушка Екатерина Алексеевна, ты, кажись, арестовать меня собиралась? Ну, что же, распорядись: видишь, я никуда не сбежал и к тебе с повинной головой явился, – насмешливо проговорил Меншиков, входя к императрице, которая в это время жила в Петергофе, и куда, как будто по пути, проездом к себе в Ораниенбаум, завернул Меншиков со своим большим поездом.

– Рада я тебя видеть у себя, Александр Данилыч, а об аресте твоём и не думала, – в смущении проговорила императрица, поджидавшая одна в своем кабинете прихода сурового гостя.

– С чего же ты, всемилостивейшая государыня, вздумала требовать меня из Митавы таким грозным образом? Кажись, этого прежде не водилось, – строгим голосом продолжал Меншиков, – или все старое уже позабылось?

– Не забыла я того добра, какое ты мне сделал, – смиренно проговорила государыня, которую сильно кольнуло напоминание князя о прошлом. – А если нам друг с другом посчитаться, то выйдет, что и я тебе много добра, Данилыч, сделала. Припомни-ка, сколько раз избавляла я тебя от гнева Петра Алексеевича. Сознайся сам, что тебе без меня куда как плохо было бы, – проговорила Екатерина, успевшая несколько оправиться после первого натиска со стороны Данилыча.

– Что нам между собою считаться! – махнул рукой Меншиков. – Скажу тебе только одно: когда я тебя на всероссийский престол посадил, то мне и должна быть отдаваемая первая честь, да и царством должен править я, и никто другой; а станешь, Катерина Алексеевна, помимо меня, у кого иного поддержки или советов искать – пропадешь; ей-ей, пропадешь – помяни мои слова! – зловещим голосом проговорил Меншиков. – Поистине, одно надо

сказать, что тебя на этот раз недруги мои хорошо надоумили. Сам я вижу, что я не вовремя принялся за герцогство. Шляхтичи теперь там потому только и ломаются, что у них больно много амбиций. Выбрали, мол, говорят они, мы герцога, так теперь отказываться от него нельзя. Права-де наши нарушают! – орут они. Ведь там, матушка моя, не то, что у нас на Руси; там пальцем никого тронуть нельзя, а я было, сгоряча, по нашему обычаю, пригрозил попотчевать их палками. Ну и обозлились... Пусть поуймутся, да король приудержит своего сына, так мое дело опять наладится, а я заранее и напрямки тебе говорю, что я снова при-мусь отыскивать герцогство; знай это наперед.

– Воля твоя, князюшка; а теперь спасибо тебе, что меня послушал, упрямитесь не стал, а то дело, чего доброго, дошло бы до беды. Пришлось бы, пожалуй, воевать с Польшей, а ты и сам этого не желаешь... Так покончим наш разлад и поведем речь о другом. Когда же мы устроим помолвку твоей Марьюшки с Петрушей?

Меншиков призадумался.

– Видишь, мать моя, в чем тут дело, – досадливо и с расстановкою заговорил он. – Пан Сапега мне пока еще нужен в Польше, и расходиться с ним еще не пора. Теперь он работает в Польше для меня, а как я откажусь выдать за него дочь, так он примется мне у поляков пакостить и сделает то, что мне о герцогстве Курляндском нельзя будет потом и подумать. Такой он гоноровый и обиды, сделанной его сыну, никогда не простит. Повременим-ка немножко. Посмотрим, как пойдут дела в Польше; может быть, и без того придется развязаться с Иваном.

– А знаешь что, – как будто спохватившись, сказала императрица, – ведь с Сапегами и добром можно расстаться.

Меншиков встрепенулся.

– Ты, всемилостивейшая государыня, куда как находчива. Все помнят, какой хороший совет дала ты на Пруте покойному Петру Алексеевичу. Вероятно, и теперь что-нибудь разумное скажешь, – подольстил светлейший.

Екатерина заметно осталась довольна сделанною ей похвалою.

– Софьюшка Скавронская сохнет по Петре Сапеге и на дочь твою нарекает, что вот, мол, жениха какого у меня отбила; а по правде сказать – он ей был бы под стать.

– А что, и в самом деле, ваше величество, славно придумали! – весело вскрикнул Меншиков. – Ведь Сапеге хоть и знатные паны на Литве, но каждый из них поставит себе за великую честь жениться на родной племяннице самодержицы всероссийской.

– Да и приданое-то я за нею дам такое же, какое дал бы ты за своей княжной, – добавила Екатерина, – так тут в обиде никто не будет.

– Дельно, дельно, – с удовольствием повторял Меншиков, – а потом я уже прямо с тобой породнюсь, – добавил он.

Екатерина вопросительно взглянула на него.

– Что так смотришь на меня? Я говорю дело: отдай Лизавету за моего сына.

– Да ведь она царская дочь.

– Знаю, что она дочь царя и императора, да ведь вместе она и твоя дочь, а мы по породе один от другого недалеко ушли, – нагло и язвительно сказал Меншиков.

– А по родству разве препятствия не может быть, коли Петр Алексеевич женится на твоей Маше?

– Какое же тут будет родство! И сватовство-то далекое будет, а если по церковным правилам какое-нибудь препятствие и встретится, так на этот случай у нас Феофан есть. Тотчас разрешительный указ для Синода сочинит.

– Дай, Данилыч, подумать. Свадеб-то больно много у нас наберется, как мы их справим? – шутливо сказала императрица, желая отклонить начатый князем разговор.

– Хорошо, хорошо; а теперь пойдем окончательно на мировую, – сказал он, протягивая руку, чтоб учинить с Екатериной обычное при примирении рукобитие. – Слушай же, Екатерина Алексеевна, мои условия. Вот они.

Сказав это, Меншиков вынул из кармана бумагу, в которой были изложены его требования, и первым из них было поставлено, чтобы он был наименован генералиссимусом; затем, чтобы ему были даны новые деревни и сложены с него разные казенные недоимки.

– Да сама, матушка-царица, этого дела от себя не решай, а передай на обсуждение в Верховный Совет. Посмотрю я там, кто моим недругом посмеет оказаться. Так лучше его решить, по крайней мере на тебе никаких нареканий не будет, как будто не по своей воле делаешь. А теперь скажи мне по душе, кто в мое отсутствие были моими врагами и подушали тебя против меня.

Екатерина смешалась; она не могла сразу решиться выдать близких ей людей беспощадному временщику.

– Бог свидетель, что я их не трону за это, а не изволишь их мне выдать – все равно я сам доберусь до них и тогда уж спуску не дам никому. Думаешь ты, что мне трудно будет разведать обо всем, что без меня здесь делалось? Возьмусь только хоть за одного кого-нибудь, велю допросить хорошенько с пристрастием, так всех до одного каждый выдаст. Не хочется только мне шуму заводить.

– Да ты сам, Александр Данилыч, своих недругов лучше меня знаешь, – отвечала императрица.

– Как мне их не знать! И бабья между ними немало; вот хоть бы Аграфена Волконская, да Наталья Лопухина, да Марфа Долгорукова. Они без устали на мой счет языком чешут... А скажи-ка мне, Петр Толстой был крепко против меня?

Императрица молчала.

– Понимаю, Катерина Алексеевна, почему ты молчишь. Ну, и зятюшка мой, Антошка Девьер, и этот жидок – тоже против меня поступал? Хорош! А еще сродственником моим считается.

– Да уж ты слишком крепко на него налегаешь, Александр Данилыч; если он что и делает тебе нехорошее, так, вишь, все во хмелю. Снизойди к нему на этот раз, – просила Екатерина.

– Сказал я тебе, что теперь никого из них не трону, так чего хлопотать, – успокоительно, но вместе с тем и не без насмешки проговорил Меншиков.

К концу беседы его с государыней в дворцовой приемной собралось несколько важных лиц, приехавших из Петербурга. Все они с нетерпением ожидали выхода Меншикова от государыни, предполагая, что он явится от нее в сильном гневе на те враждебные замыслы, которые направлялись на него в его отсутствие; но все чрезвычайно ошиблись, увидя шедшего за государынею князя не только в спокойном, но даже в веселом расположении духа. Все поняли, что Меншиков восторжествовал над своими врагами, и стали отвешивать ему низкие поклоны, желая уловить его милостивый взгляд.

Через несколько дней после этого все пункты челобитной, представленной князем государыне, были удовлетворены по единогласному постановлению Верховного тайного совета, за исключением только первого пункта, в котором он просил о назначении его генералиссимусом.

– Не извольте делать этого, Катерина Алексеевна, – объяснил Толстой императрице. – Князь Меншиков уже и теперь президент Военной коллегии и ингерманландский генерал-губернатор. Значит, и в настоящую пору у него под рукою много войска, а как сделается он генералиссимусом, то станет начальствовать над всеми силами, и сухопутными, и морскими, и тогда кто в состоянии будет справляться с ним, если он начнет будоражиться? Заберет он в руки всю власть, женит великого князя на своей дочери, так о нем и о ней заботиться

станет, а дочерей твоих, цесаревен, всего лишит. Чего доброго, останутся бездомными сиротами.

Довод Толстого сильно подействовал на императрицу.

– Уж ты, Данилыч, ради меня, по старой приязни, откажись от того, чтоб тебе генералиссимусом быть, – просила она Меншикова при новом с ним свидании, – больно много хлопот этим наделаешь и себе, и мне. Слышно, что князь Дмитрий Михайлович Голицын и так уже на нас из Киева с войском идти хочет, чтоб тебя и меня уничтожить и посадить на царство великого князя Петра Алексеевича. Побережся надобно нам всем.

– Пусть на этот раз будет по-твоему, матушка Катерина Алексеевна, – склонился на ее убеждения Меншиков, – а до наших недругов, – не теперь еще, а рано или поздно, – все-таки я доберусь, – угрожающим голосом проговорил светлейший.

XVI

Не слишком благоприятные вести привез Сапега своему будущему тестю из Польши относительно курляндских дел. Проведав хорошенько настроение умов в Польше и стремление тамошних политических партий, он убедился, что теперь для Меншикова неблагоприятная пора домогаться курляндской короны и что хотя, по всей вероятности, польский сейм не признает Морица герцогом, но что, несмотря и на это, Меншикову не удастся занять его место, тем более что он своим образом действий в Курляндии ожесточил против себя тамошнее рыцарство.

– Надобно обождать, мой коханный приятель, а меж тем мы справим свадьбу наших деток, – говорил магнат, весело хихикая и одобрительно трепля по плечу своего свата.

Меншиков отрицательно покачал головою. Сапега, вытаращив глаза, с изумлением смотрел на него.

– А что же это значит? – тревожным голосом спросил пан Ян.

– Это значит, что предположенной свадьбе не бывать, – равнодушно и решительно отрезал Меншиков.

– Как так? – сильно крикнул побагровевший Сапега.

– В твоё отсутствие, любезный Иван Францевич, государыня просватала мою дочь за великого князя, так что она будет не ясновельможная пани Сапегина, а ее величество императрица всероссийская, – гордо проговорил Меншиков, хлопнув дружески по плечу изумленного пана. – А мы с тобой, Иванушка, останемся, как и прежде, добрыми приятелями.

– Но... но, – заикаясь, начал было Сапега, – отказ твой делает бесчестие и моему сыну, и мне, и всей нашей фамилии.

– Не беспокойся, приятель. Об этом я прежде тебя подумал, и для сына твоего я подготовил такой брак, который сделает особенную честь всей вашей фамилии. Ни больше ни меньше – я породню Сапег через твоего сына с императорским домом. Я женю пана Петра на родной племяннице императрицы, а приданое он получит за нею такое, какое, пожалуй, не взял бы он и за моею дочерью. Понимаешь?

На лице Сапег при этих словах выразилась сильная радость. Но вслед за тем он понурил голову и дернул книзу свой ус, вспомнив, что Скавронские ничего более, как простые холопы, с которыми вовсе не стать родниться Сапегам. Но эта мысль быстро сменилась другою.

«Да разве и с Меншиковым-то приходится родниться таким магнатам, как Сапег? Однако я настаивал сам на этом браке. Да и что смотреть на происхождение Скавронских: довольно того, что невеста – родная племянница императрицы и у ее семейства будет знатное родство».

– Что так вдруг призадумался, пан Ян? Или хочешь для своего сына еще более знатную невесту? Но такой в целой России не найдешь и потому отправляйся искать ее к себе в Польшу, если только надеешься отыскать там кого-нибудь получше, – подсмеивался Меншиков. – Авось женишь Петра на королевне польской.

Такое подтрунивание Меншикова над Сапегою последнему было не совсем приятно, да и совершенно бесполезно, так как не сообразивший с первого раза сущности дела магнат понял теперь преимущество женитьбы своего сына на родной племяннице русской императрицы перед женитьбою на дочери Меншикова. О происшедшем изменении в брачных предположениях они условились не сообщать не только посторонним, но даже тем, кого это предположение прямо касалось. Они были уверены, что ни со стороны жениха, ни со стороны невесты не могло возникнуть никакого противоречия. И Меншиков, и Сапега понимали, что Петр предпочтет, как юноша, хорошенькую Скавронскую некрасивой Меншико-

вой, а княжна Мария, хотя и страстно влюбленная в Сапегу, будет не прочь быть супругой будущего императора, который из миловидного отрока обещал сделаться в скором времени красивым юношей, а затем обратиться в статного и величавого мужчину.

О расположении самого великого князя к предназначаемой ему без его ведома невесте не спрашивали ни Екатерина, ни Меншиков. Предполагалось в этом случае одно из двух: или великий князь безропотно, как послушный ребенок, подчинится чужим распоряжениям, не справившись с влечением своего сердца, которого даже, как это предполагалось, у него и не могло быть в таком раннем возрасте, – или же, в противном случае, Меншиков и послушная ему во всем Екатерина растолкуют мальчику, что без этого брака ему не бывать на престоле. Рассчитывали они и на влияние Натальи Алексеевны, которая не захочет оставить в приниженном положении так горячо любимого ею брата.

Удовольствовавшись устройством брака молодого панича с крестьянской девушкой, а вместе, по странному стечению обстоятельств, и родной племянницей могущественной государыни, Сапега совершенно забыл о том, что могло быть в этом брачном союзе щекотливого для его родовой гордыни, и видел только блестящую сторону такого неожиданного родства. Он обнял Меншикова и крепко поцеловал его три раза со щеки на щеку.

– А прикажи-ка, ясновельможный, подать нам бутылочку доброй венгжины, – весело сказал по-польски, обращаясь к Меншикову, Сапега, который, как и все магнаты того времени, а под стать им и русские сановники, любил хорошо выпить, особенно на радостях. – Я прежде всего выпью за здоровье и за благополучие ее императорского величества будущей государыни всероссийской, твоей коханой дочурки. Жаль, очень жаль, – притворно добавил Сапега, – что она по сыну моему не будет моею дочерью. Но что делать! – добавил магнат, пожав плечами с видом сожаления.

За доброй «венгжиной», или старым «вытравным» венгерским вином, у Меншикова остановки быть не могло. Обширный погреб при его доме был наполнен отборными винами, и вскоре перед паном Сапегой появилась обросшая мохом бутылка, которую он и распивал с наслаждением, мечтая о том высоком и блестящем положении, какое займет его сын, будущий племянник императрицы.

Светлейший, сидя за столом против Сапеги, пил венгерское только по временам, небольшими глотками, отхлебывая из стоявшей перед ним чарки, которую усердно подбавлял его все более и более развеселившийся собутыльник. Опершись локтем на стол и положив голову на ладонь, Меншиков вдавался в иные думы. Он находил, что для его рода было бы более чести, если бы сын его женился на цесаревне Елизавете и мог бы, таким образом, сделаться родоначальником царствующего дома Меншиковых. Но Александр Данилович, несмотря на все свое ослепление честолюбивыми замыслами, понимал невозможность осуществления такого предположения, так как общее мнение стояло за Петра, который должен был, как единственный представитель мужского поколения дома Романовых, получить доставшуюся ему еще и прежде наследственную корону, захваченную Меншиковым для Екатерины. Он не обращал никакого внимания на своего собеседника, который в отличном расположении духа начал напевать какую-то игривую мазурку и мысленно переносился в ту пору, когда он лихо отплясывал этот танец, окруженный роем хорошеньких и весело щебетавших паненок. Припоминались ему и те буйные сеймы, на которых он не раз являлся главным вожаком своей многочисленной партии. Воображение его разыгрывалось все более, и ему уже казалось, что составлялся в Варшаве сейм, на котором обсуждался вопрос об избрании его королем при могущественной поддержке со стороны России.

Из таких мечтаний он был выведен своим собеседником.

– Ты смотри, ясновельможный, – сказал Сапеге Меншиков, как бы очнувшись от своих соображений и дум, – не разболтай кому-нибудь о том, чем мы порешили дело. Нужно подождать еще несколько дней. Ты знаешь, что у меня врагов и завистников куча. Лишь прове-

дают о будущей свадьбе вели кого князя с моей дочерью, так и примутся действовать против меня.

Сапега расхохотался:

– Да ты думаешь, что этого никто не узнает? Да первый же Рабутин, который знает все дело, верно, давно разболтал обо всем. Он почти безвыходно сидит у Долгоруковой, а она, как ты сам знаешь, умеет выпытать от каждого мужчины всякую тайну.

«Особенно все то, что может послужить мне во вред, мстя мне за своего отца. А ведь не худо было бы мне сойтись с Долгоруковыми», – подумал Меншиков и начал соображать, как бы устроить это дело.

XVII

Около той поры, когда Меншиков склонял Екатерину на брак великого князя Петра Алексеевича со своею дочерью, в одном из петербургских домов, очевидно принадлежавшем, судя по его внешности и по тем большим съездам, которые порою бывали в нем, лицу важному, – сидел за небольшим столом пожилых лет мужчина и занимался составлением какой-то бумаги. Окончив эту работу, он стал вполголоса, по написанной им бумаге, читать следующее:

«В начале при сотворении мира сестры и братья посягали, и через то токмо род человеческий распложался; следовательно, такое между близкими родными супружество отнюдь общим натуральным и божественным законом не противно, когда сам Бог оное, как средство мир распространить, употреблял».

«Кажется, – подумал он, – довод сей настолько очевиден и осязателен, что никакого возражения против оного сделать невозможно».

И он стал читать следующие строки:

«Если же наследство на одном из ее величества детей или кровных наследников, с исключением великого князя, остановить, то всегда в Российском государстве разделения и партии останутся; и может какой-нибудь бездельный, бедный и мизерабельный мужик под фальшивым именем, однако же, себе единомышленников прибрать; чего же не может государь при взрослых летах, которое рождение не ложно, и которое ему в государстве не только многое почтение придает, но и его многие сродники знатные великую часть нации сочиняют, который також и вне государства на римского цесаря, яко своего дядю, сильную подпору в способное время уповать может. Не может такая мудрая императрица ни 12 человек из своих вельмож в соединении содержать: как же возможно уповать, чтоб по смерти ее принцессы, которые в правительстве гораздо не так обучены, без нападков и опасности остались? При которых смятениях обе всего своего благоповедения лишиться могут».

Составив такую записку для представления императрице, Остерман надеялся своими доводами склонить государыню на брак великого князя с цесаревной Елизаветой и тем самым примирить две особые отрасли в потомстве Петра Великого; одну от царицы Евдокии Феодоровны, а другую от Екатерины Алексеевны, в лице ее дочерей Анны и Елизаветы. Как лютеранин, Остерман вообще легко относился к заключению браков в близких степенях родства, а потому женитьба племянника на тетке не представлялась ему затруднительным брачным союзом, особенно после тех убедительных, по его мнению, доводов, какие он сумел выставить в своей записке.

«Брак этот, – продолжал думать хитроумный немец, – можно будет наладить так, что он состоится по страсти. Жениха и невесту можно влюбить друг в друга. Я найду таких дам, которые в этом направлении при займутся цесаревной Елизаветой, а около великого князя я буду действовать непосредственно сам и в подмогу отыщу подходящего человека...»

Барон Андрей Иванович Остерман, разумеется, проведал или по крайней мере догадывался о предположенном браке великого князя с дочерью Меншикова, так как до него дошли сведения о поручении, данном графу Рабутину, и пока дело о браке складывалось в пользу светлейшего, он, наружно покорный перед ним, но в душе враждебный ему, не решался идти наперекор временщику. Во время бытности Меншикова в Курляндии обстоятельства изме-

нились; казалось, наступил час его падения, и зоркий Остерман, пользуясь этим, сочинил свой «прожект». Но дела по возвращении князя приняли иной оборот, и теперь нельзя было не коснуться и Елизаветы Петровны, так как Остерман сообразил, что Меншиков может просить ее в невесты своему сыну. Остерман успел, однако, кой-кому из близких ему людей порассказать о своем предположении, и теперь наступили для него тревожные дни и такие же ночи. Он опасался, что поднявшийся временщик жестоко рассчитается с ним за его мысль о слиянии двух линий в потомстве Петра Великого, без слияния их с семейством Меншикова, и теперь запел иную песню, заявляя себя сторонником брака великого князя с княжной Марией.

Дела Меншикова пошли теперь лучше прежнего. В августе 1726 года был заключен дружественный союз с Австриею. Россия приняла на себя обязательство поддерживать так называемую «прагматическую санкцию», то есть обеспечила со своей стороны переход наследственных владений Габсбургского дома во всей целостности к дочери Карла VI, Марии-Терезии, и император, приписывая такой исход переговоров доброжелательству Меншикова к венскому кабинету, намеревался пожаловать ему в Силезии герцогство Козельское.

Со своей стороны, Меншиков, нуждаясь пока в умном и хитром Остермане, не обнаруживал против него никакого неудовольствия, и хитрая лиса успокоилась, как вдруг стряслась над ним новая беда, и он, несмотря на всю свою ловкость и находчивость, не знал, как вывернуться из того положения, в каком он вдруг очутился.

Пошли в Петербурге толки о помолвке дочери Меншикова, и многие выражали сомнения относительно возможности этого события.

– Да ведь княжна не только помолвлена, но уже и обручена с Сапегою, – возражали некоторые, – сама государыня присутствовала при их обручении. Так как же после этого Меншикову разойтись с женихом, которому обручена уже его дочь.

– Стесняться он много ни с кем не станет, а особенно если дочери его предстоит такая блестящая будущность, как супружество с великим князем Петром Алексеевичем, – замечали те, которые были убеждены в настойчивости Меншикова и понимали, что после такого родства ему не нужно будет искать курляндского престола, из-за чего он только и дружил с знатным магнатом.

XVIII

В той гостиной у княгини Марфы Петровны, в которой несколько месяцев тому назад Рабутин встретился с Волконской, опять собрались те же три особы. На этот раз здесь шел жаркий разговор, переходивший по временам в спор между Рабутином и Волконской.

– Вы мне сделали, княгиня, большое одолжение, – говорил Долгоруковой Рабутин еще до приезда к ней Аграфены Петровны, – собирая сведения касательно отношений князя Меншикова к великому князю. Я их принял к руководству.

– Очень рада была служить вам, граф, чем могла. Обстоятельства сложились так, что брат моего мужа назначен вторым гофмейстером при великом князе, и, следовательно, теперь открылась для меня возможность постоянно следить за тем, что делается кругом Петра. Могу твердо ручаться за то, что сведениями, полученными от меня, вы не будете введены в заблуждение. Ах да, мне следовало прежде всего поблагодарить вас за тот подарок, который вы доставили мне при вашем письме, – скороговоркою и как будто стесняясь проговорила Долгорукова.

– Я был здесь ни при чем, – отвечал Рабутин. – Его величество император приказал мне препроводить к вам этот подарок... за ваше кружево. Да что я говорю! Я всегда так рассеян с вами, что смешиваю одно с другим.

– Приказал ли, – улыбнувшись, заметила княгиня, – благодарить меня император или императрица за кружево, – во всяком случае и то, и другое кружево еще не окончено. А кстати, что моя просьба?

– О пожаловании вашему батюшке графского титула?

Долгорукова утвердительно кивнула головою.

– Верьте мне, прекрасная княгиня, что я был бы как нельзя более счастлив, если бы имел возможность безотлагательно исполнить ваше приказание. Я писал в Вену, но там сочли нужным отложить это дело на некоторое, весьма, впрочем, непродолжительное время, – заминаясь, пробормотал Рабутин, – тем более что в настоящее время на получение в России графского титула Римской империи есть уже кандидат – Бестужев-Рюмин, и княгиня Волконская усиленно хлопочет об этом. Вы знаете, что она нам очень нужна, а потому, вероятно, извините медленность императорской канцелярии.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.